

Ислам

# ВАГАБОНДЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ПУБЛИКАЦИЮ КНИГИ  
ВЗЯЛ НА СЕБЯ  
ИГИЛ



**Ислам**  
**Вагабонды. Ответственность**  
**за публикацию книги**  
**взял на себя ИГИЛ**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=42596356](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42596356)*

*ISBN 9785449680006*

**Аннотация**

«Мы двигались вперед, разрезая своим телом пространство. Засыпали и просыпались в доселе неизвестных местах. Вечные бродяги, не знающие совершенно ничего и ни к чему не устремленные, лишь обладающие тонким вкусом к удовольствию. Циничные деструкторы, жалкие смутьяны, беспощадные головорезы – жирный карбункул на нежном теле человечества. Одним словом, Вагабонды. Так мы себя называли». \*ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в РФ. \*РФ – террористическая организация, разрешенная в ИГИЛ. Книга содержит нецензурную брань.

# Содержание

Форшпиль	5
I	9
1	9
2	27
СюрГом	47
4	74
5	90
Конец ознакомительного фрагмента.	107

**Вагабонды**  
**Ответственность**  
**за публикацию книги**  
**взял на себя игил**

**Ислам**

*Посвящается Азамату Юсупову*

© Ислам, 2019

ISBN 978-5-4496-8000-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# Форшпиль

То, что вы держите в руках – крупная проза. Жанр книги – исповедь. Эта литературная диспозиция принципиальна для ориентации в пространстве книги. Иначе есть риск заблудиться или зайти не в те двери. Нет необходимости прикреплять план эвакуации – для любого читателя это самоочевидность: закрыл книгу, удалил файл. Но вот сказать несколько слов о правилах чтения все-таки следует.

Моя исповедь имеет в меньшей степени религиозные коннотации, но и они присутствуют (самую толику). Мне же был важен именно эпистемологический тон, характер, вес этого понятия. Да, это исповедь. И как всякая исповедь – это прежде всего откровение перед самим собой. Что есть я, как личность, как художник? Какова глубина и в каком ином качестве представимо мое сознание? На каких принципах и основаниях существует отдельно взятый человек?

Если угодно, весь массив текста книги – проиллюстрированное досье или личное дело № XXX... XXX, ознакомившись с которым (ведь час настанет, его не миновать?) некий господин будет обязан принять решение – как поступить с этим праведником/грешником. Несколько сотен рукописных страниц, разложенных хаотически на земле и склеенных как попало, образуют собой подобие гигантского бумажного круга, зубчатого по краям. Это – и арена для глади-

аторских боев, где автор в одиночку сражается с тварями, это и площадь для публичного суда. Получившийся словесный пруд – вместилище интеллектуального и эстетического опыта, который я вырыл не ковшом, а голыми руками. Упавший на него взгляд сверху вниз обнаружит множество черных точек. То будут мои рыбы глаза, пытающиеся из-под бумаги мертвую разглядеть размытый облик смотрящего на гладь моей исповеди. Вот он сидит с удочкой и смотрит на поплавок.

Любое высказывание, всякая фраза имеет двунаправленный вектор (обоюдоострый меч?) – вовне (что само по себе понятно) и внутрь (то, на чем я как раз и заостряю внимание). Первое – это хитросплетенная связь отношений между книгой, автором, читателем, историей, Богом (опять же, если угодно). Второе – мой ответ на вопрос, что такое искусство. Всякий художник – это Terra incognita. А всякое произведение – это новый открытый материк на карте собственной натуры. Художник – это рудокоп, который добывает драгоценный металл из глубин своего Я. И на этом пути встречаются как мелкие камешки, так и крупные самородки. Моя исповедь – это попытка достать этот самородок на поверхность.

Этот текст – это фундаментальная попытка поставить точку над *i* в собственном имени. Никакого покаяния здесь искать не нужно. Создавая страницу за страницей, я лишь разворачивал перед собой самого себя. Моя исповедь послужи-

ла мне панорамным зеркалом, в котором я мог увидеть свое отражение не только в анфас, в профиль, но и со спины – и, причем, одновременно. В книге я присутствую везде от реплик персонажей до предметов мебели, от деталей портрета до элементов одежды. Каждая строчка, каждая буква была воссоздана по образу и подобию меня самого. Аналогичным образом создан и человек в ветхозаветной догматике. В каждом печатном знаке столько же меня, сколько и в каждой отдельной главе или каждой части.

Однако, не стоит путать мою исповедь с автобиографией. Здесь нет ничего или почти ничего, что имело бы параллели с моей жизнью. Не моя жизнь стала предметом моего искусства, а сам Я, как таковой. Цепь сюжетных событий скорее своей художественной плотностью сближается с моим Я, чем своей фабулой. Мой темперамент, мой облик, моя натура, мои <...> были просеяны на бумагу сквозь сито мысли и чувства, соединенные крестообразно. Все упало сюда и разлетелось по разным уголкам книги. Все всосала она в себя без остатка. И после окончания своего труда я чувствую себя не просто голым перед читателем. Я чувствую себя распятым на собственных страницах. Каждое слово – это прибитый в мои ладони гвоздь. И вот я подвешен перед вашими глазами. За окнами весна, и день равен ночи. Все приготовлено для следующего рубежа.<sup>1</sup>

У меня есть одно важное требование к вам, которое мне

придется озвучить изложить здесь. Вы имеете дело не столько с придуманной историей, сколько с живым человеком. С его самой, что ни на есть сутью. Как и при физических контактах, этикет требует от вас соблюдение норм гигиены (чистых рук при рукопожатии), так и в нашем случае я искренне прошу перед чтением помыть руки. Хотели бы вы, чтобы к вашему нутру прикасались грязные пальцы?

# I

*Tangitis res vestries minibus, et his credit.*  
*Andreas Vesalius*<sup>2</sup>

## 1

Октябрь был на исходе.

Не так давно закончился полугодовой срок аренды моей квартиры. Продлевать договор мне не хотелось. Да даже будь у меня желание, сделать этого я бы не смог. Хозяин квартиры стал меня игнорировать. Ни на звонки, ни на письма он не отвечал. И я уж стал думать, не помер ли он.

Всегда улыбчивый и жизнерадостный, со смешной эспаньолкой и руками, чуточку измазанными в краске, он приходил ко мне двадцать четвертого числа каждого месяца, жал руку и прежде всего садился пить чай, вытаскивая из сумки припасенные для этого случая сладости. И, невзирая на планы, на какие-то дела, я включался в незатейливый диалог, длившийся час, а то и больше. И только лишь после беседы, когда я напоминал ему о цели визита, он забирал квартплату, очаровательно по-старчески раскланивался и удалялся. Во время чаепития он как-то от городских новостей, на-

---

<sup>2</sup> Вы прикасаетесь своими руками и доверяете им. Андреас Везалий

блюдений о погоде, анекдота плавно переходил к любимой теме – о годах, проведенных в блокаде. О жертвах, о потере близких, о голоде и обо всем остальном, что связано с этим городом в военное время. И, несмотря на то, что некоторые из этих историй я слышал неоднократно, я ровным счетом ничего не запомнил. Ни одного имени. Ни одного факта. Господи, да я даже не запомнил, как звали его мать, которая ценой своей жизни спасла этого человека от истощения! Зато я запомнил, как звали его, кажется, внучку.

– Катенька, – говорил он однажды, отвечая в трубку, – мне очень не нравится, как и с кем ты в последнее время проводишь время. – Это были типичные для его возраста слова-наставления. Неужели кого-то они могли направить в нужную сторону? – Все эти кампании шумные, ночные... ну... я имею ввиду... ты поняла, в общем. Да нет же, послушай, я ничего не говорю, ты умничка наша. Мы с бабой всегда тебя поддерживали. Хочешь музыкой заниматься – пожалуйста. В театре играть – ради Бога. Танцевать – ну и так д... Я не начинаю. Подожди-ка, милая моя, ну. Мы с бабой рады, что у тебя все хорошо. Ты же такая талантливая у нас. Ну почему ты сейчас ничем не увлекаешься. Как же твои танцы? Ты же так любила. Ты хоть на учебу ходишь? Не думала подраб ... – И вот здесь наступала неудобная пауза. Моложавый дедушка отстранял телефон от себя и смотрел то на него, то на меня, то снова на него. – Хмх, сбросила, – бормотал он мне, выгнув шею, нагнув слегка голову в бок и округлив свои

густые брови, отчего становился отдаленно похожим на болванчика, выпрыгнувшего из табакерки.

– Как хорошо, что есть кому присмотреть за моей лацугой. Подумать только, когда-то я брал на себя смелость называть себя художником, а то, чем я занимался – искусством, – говорил он как-то отстраненно и даже монотонно, и его слова звучали почему-то вопросительно, хотя он ни о чем и не спрашивал. – И я все писал, писал остервенело, прямо вот здесь, не жалея ни красок, ни сил. – И после короткого молчания на его лице как будто бы менялась раскладка, тональность, цветовая гамма и он своей речью словно целовал воздух. – Теперь же учу этому детишек. Стал я педагогом, теперь уж только ремесло. Группки по десять-двенадцать ребятишек. Такие махонькие, шустрые. Знаете, в каждом столько сил и жизни, что и думаешь, как это они не лопаются за целый день. Сам я давно ничего не писал, а из написанного продал штук десять за все время, остальные валяются то тут, то еще где-то. Пенсия, маленькая дача, жена моя да и внучка. Вот и все. Вот вам и счастье. Скажи мне кто-нибудь об этом в вашем возрасте, я бы расхохотался в лицо тому идиоту. А нынче сам таков. – И улыбка его вместе с эспаньолкой как баян в опытных руках то растягивалась, то сжималась туда-сюда, туда-сюда. – Спасибо за чай, за гостеприимство. Что ж, увидимся через месяц! До свидания и еще раз спасибо!

Да не за что, битте, юрвелком, жвузанпри – но не нынче.

Некому мне передать деньги. День, два, третий. Жить дальше в таком положении становилось уже неприличным. И мне хотелось заявить, что я отказываюсь больше проживать в таких условиях и никакого договора продлевать не собираюсь. И это несмотря на то, что я искренне полюбил этого старика. Но меня попросту не кому было слушать. И тем не менее:

Отовсюду протекало, какая-то мерзкая живность ползала по потолку и усиленно плодилась. Цвет сантехники варьировался от бледно-желтого до насыщенного рыжего. Где-то скрипело. Что-то трещало. Мебель – ходуном. Старые совдеповские трубы в количестве двух грели через день или реже. Воздух с улицы словно беспрепятственно проникал через оконные проемы и обхватывал меня со спины, как свою плюшевую игрушку. По ночам я замерзал до костей подобно бездомному животному, втрое свернувшись под двумя одеялами. Замерзал я и утром, и днем – постоянно. Все мои конечности были ледяными. Отогреть пальцы не удавалось даже под струей теплой воды, (ее градус, впрочем, едва дотягивал до пятидесяти) которая, как мне казалось, нехотя лилась из-под крана, словно делая мне одолжение. Будто требуя насильственных сверхмер! Несколько ударов молотком по смесителю, к примеру. Не знаю. Кружка кипятка с пакетиком чая решала проблему минут на пятнадцать – не больше. Последние две недели по дому я ходил в осенних ботинках в обнимку с пледом поверх шерстяного свитера. Иногда в перчатках. И как-то неловким движением, лежа в посте-

ли с горячим напитком и закрывая шваброй дверцы шкафчика, я разбил единственное зеркало в этой квартире. Сначала от него отвалился приличный кусок, распавшийся надвое от удара о пол. Глядя в узорчатую отражающую плоскость туалетного столика, я видел, что меня в этой квартире стало в несколько раз больше. Куча таких завернутых в одеяло людей с моим лицом смотрели вокруг с недоумением, со злостью. Да чтоб тебя! Дважды я ударил концом швабры по остаткам от зеркала. Осколки разбежались кто куда, множа действительность, сами того не желая. Я, конечно, после за собой прибрался. Но злость на удивление долго меня не отпускала. Провести всю зиму в этой квартире? Ну, уж нет! Я стал искать новый вариант для жилья. Благо, нашел быстро, почти через сутки. В принципе, я мог и раньше переехать. Если бы захотел.

Это прелестное место навсегда останется в моей памяти, как обратная сторона картины великого голландца – изображение зимнего городского пейзажа из окна мастерской.

На одном сайте недвижимости я наткнулся на блестящее предложение. Совсем недалеко от ресторана, где я работал, плюс за небольшие деньги. Удача?

Оставалось пять минут до встречи и пять шагов до здания, и тут я неожиданно для себя открыл, что этот мой новый дом сколочен целиком из горизонтальных бревен. Деревянное зодчество меня преследует? Двухэтажная избенка –

памятник архитектуры, судя по табличке на главном фасаде. Эдакое сибирское барокко или местная эклектика с элементами классицизма. Наличники с витиеватой резьбой молочного цвета, рубиновые водосточные трубы, три треугольных фронтона на крыше с какими-то откусанными крестами, два скромных балкончика по бокам с торчащими наружу лыжами. Цокольный этаж наполовину врос в землю – для этого ему понадобилось чуть больше века. На аншлаге черным по белому – цифра сорок шесть. Центральные филенчатые двери были заперты, судя по всему, давно и надолго. Внутри попасть можно было только через черный ход.

Я встретился с хозяевами. У нас ушло минуты три на мои вопросы. Еще пять – на обсуждение всех условий. Затем я быстро пробежался по всем углам – их было четыре, а нет – пять. Поставил подпись и, чуть меньше, чем через час, перевез все нажитые за двадцать семь лет вещи со старого адреса. Два десятка книг, немного одежды, обувь, какая-то бытовая мелочь – в целом, немного. Разобрал коробки, перебрал все пакеты, навел порядок – разложил все по местам.

Мое новое жилье состояло всего из одной комнаты, которая была для меня спальней, гостиной, столовой, кухней и в редких случаях даже рабочим кабинетом. Время от времени я понемногу корпел над одним незаконченным дельцем, которое мучительно растягивалось как минуты ожидания своей очереди в туалет. Я трудился над скромной кандидатской. Расширял ее научное поле. Утратив всякое жела-

ние продолжать работу в рамках, заданных мною же самим, я напрочь отклонялся от темы. Ходил вокруг да около, как застенчивый юноша вокруг скучающей девушки. Добавлял новые аспекты, новые понятия, новые вопросы. Что говорить, мои записи становились похожими на дневник, на письма о «...», на незрелую эссеистику начинающего писателя, да на все что угодно, только не на научный текст. Будь он проклят этот Андреас Везалий со своими трупами! Одним словом, я окончательно разочаровался в этом занятии. Я готов в этом признаться. И замечу, что меня это не принижает в собственных глазах, да и в профессиональных планах я не отчаиваюсь. Все-таки, в этих исписанных страницах есть смысл. В потраченных часах над моей сорокастраничной тетрадкой есть смысл. Должен быть смысл! Однако, отказаться полностью от перспективы получить ученую степень я не мог. Я надеялся в будущем все же оформить разрозненные листы в единой строгой логике. Это было нужно для моей преподавательской карьеры. Для самоуважения. Для уверенной работы в науке. Для предания своим теоретическим взглядам силы, значения, что ли. Да мало ли для чего еще! Необходимо! И все тут! Это было не столько необходимо, сколько приятно (занятно – подходящее слово). Хотя, пожалуй, и в этом определенности я не чувствовал. Писал я при случае. Откладывал в сторону – при желании.

Общая площадь комнаты – двадцать четыре квадратных метра. Места немного, согласен. Но мне хватало.

Санузел общий, и находится он прямо в этой же комнате. Не стоит удивляться. Из себя он представляет маленький уютный бункер площадью в четыре-пять квадратов из ровно склеенных гипсоволокнистых листов в два с лишним метра высотой. Создается видимость еще одного отдельного помещения. Если вы представите себе мой потолок размером почти в два человеческих роста, то поймете, что в промежутке между ним и моим укромным бункером было еще достаточно много свободного пространства. Одно время я планировал разместить там дополнительное спальное место – например, для гостей (в принципе, они могли бы бывать, будь я поделикатней с людьми?), но вовремя одумался. Первая же ночь, проведенная на этом ложе, разрушила бы самый комфортный уголок моего простецкого жилья.

Над холодильником прямо на потолке была какая-то странная надпись черного цвета. Всего четыре слова. Очевидно, кто-то оставил ее углем задолго до моего появления здесь. Скажу честно, заметил я ее не сразу. Пытался прочесть, но буквы расплывались в высоту. Забирался на холодильник, вставал на табуретку, приближался к ней почти вплотную – но все бесполезно. Уж больно неровный был почерк. Такое ощущение, что кто-то очень торопился, когда крошил уголь с откинутой назад головой. Писать в таком положении неудобно. Каково же было итальянцу расписывать знаменитый потолок? Первое слово начиналось на «Ку», а последнее состояло из трех символов. Пару раз я пытался

удовлетворить свое любопытство. Но дальше второй буквы я так и не ушел.

Я обхожусь только одним столом, за которым ем, читаю, пишу. Он имеет зернистую фактуру и белый цвет с мелкими черно-коричневыми пятнами, хаотически разбросанными по всей столешнице. Понять, чистый ли стол, или нет, со стороны – просто невозможно, из-за чего я время от времени пробегаюсь по нему сухой тряпкой – очищаю его от крошек, оставленных после еды. Раз в неделю я стираю вещи. Мусор выбрасываю каждые три дня. Ежедневноправляю постель. Занавески не раздвигаю никогда.

Сплю я на большом двуспальном диване. В разложенном виде он занимает фактически половину комнаты. Через тонкие щели в моих голубовато-бирюзовых жалюзи в квартиру проникают с десятков лучиков солнечного света шириной в воробьиное глазное яблоко. Они проскальзывают по измятому постельному покрывалу, цветочному орнаменту напольного ковра, белому параллелограмму электрической плиты и, едва задев своим кончиком потолочную штукатурку, заканчиваются на складках гипсового карниза. Окна выходят на Восток. С высоты первого этажа, который возвышается над землей на целых два метра, виден угрюмый пейзаж внутреннего двора, состоящий из заброшенного автомобильного бокса, безнадежно затерянного где-то в кустах, несчастного скукоженного тополя, каких-то избитых шлакоблоков с шиферной кепкой, тесного проезда для ма-

шин и кирпичных руин с немного выцветшей белой краской, сообщающей что у кого-то с именем Костя когда-то был день рождения. Узкая, кривая дорога между моими окнами и этой дореволюционной постройкой была вся искалечена кусками асфальта – каждый размером с домашний пирог. Где-то валялась горами щебенка, пытавшаяся скрыть несколько опасных рытвин. Двор окаймлен гнилым искривленным забором, за которым находились другие кирпичные развалины, в которых кто-то когда-то мог жить. А разрушенное здание с той самой поздравительной надписью однажды горело.

То был день труда, майское утро. В отдалении гремели марши и был слышен топот шагающей по главному проспекту города молодежи. Шли они с транспарантами и красными повязками на предплечьях. А передо мной разворачивался цирк с участием пяти мужиков в огнеупорных камуфляжах и одного топора, бьющего по заколоченным дверям под песню Break on through, импульсивно выкрикивающей из моего окна.

Напротив моей квартиры проживала нетипичная семья. Их было трое; и их количество – это было единственное, в чем я мог быть уверен. В каких же они состояли отношениях между собой, я даже представить боюсь! Муж-жена-сын? Мать-племянник-невестка? Бабушка-дедвнучка? Холостяк-и-две-любовницы? Или просто три закадычных брата, обожающие выпить? Я склонялся к послед-

нему варианту. И это несмотря на то, что одна из этих человеческих особей имела шестой размер груди, фаршированные оплывшие бедра и волнистые игреневого окраса волосы до заросшего густой растительностью пупка, который постоянно торчал из-под дырявого грязного халата. «Шура, я хочу курить, Чушка моя, куда делись сигареты?! Почему в коридоре еще так тихо?! Эй, Тушка?» – барабанила она поздней ночью и своей бычьей мордой тыкалась в мою дверь. Я же в это время молча переворачивался на другой бок.

Поначалу они были настроены агрессивно против меня, в особенности самый старший среди них. Ты че тут делаешь, спрашивал он первый месяц постоянно при встрече. Ты нам мешать приехал? Тебе че тут надо? А я человек неконфликтный, всегда по возможности улаживаю такие стычки по-мирному. Здоровье дороже. И отвечал ему, что просто снимаю тут квартиру, что новый сосед, будем знакомы. Но этим я как-то им еще больше не понравился. Таким образом, однотипные вопросы продолжались до тех пор, пока некий господин в сером, еще один жилец дома, не вынудил их оставить меня в покое. Последнее, что я услышал от них в свой адрес – мутный ты какой-то. Я что им, аквариум? Это я так подумал, а на деле просто шмыгнул за свою дверь. Если им так нравится охранять дом от чужаков, пусть перестанут собирать у себя табор из мертвецов-пропойцев...

Главный верзила этого семейства – тот самый Шурик, был еще тот сорвиголова. Толстыми, как конская задница, рука-

ми он вырывал напольные доски и начинал драться со своими же гостями, с которыми, очевидно, не смог поделить стопку. И он постоянно бил кулаками себе по груди и гоготал как примат за решеткой вольера, завистливо глядя на любопытных посетителей зоопарка. Приезжала полиция, забирали в отдел эту обезьяну. Большегрудое существо – в слезы. Шурик – в бобик. А третий голодранец только и делал, что высовывался из-за двери и пожевывал какую-то дрянь, молчаливым взглядом провожая папашу. Кто же из тебя вырастет, дитя примата и коровы?

Кажется, эти ребята откликаются на фамилию – Тряпкины? Или нет. Глистовы? Может, Вонючие? Хмх, секундочку, кажется, вспомнил. По паспорту они – Горлоанусовы. Я еще так удивился этой иронии, когда впервые об этом узнал. Участковый не раз появлялся в поздний час по требованиям соседей, жалующихся на пьяный шум. Их постоянная болтовня в коридоре была слышна и через мои тоненькие двери. И я ненароком думал, что у кого-то на завтрак были гнилые абрикосы с прокисшим молоком. «Так... и снова вы... горлоанусовы... че ж вам не спится» – говорил, старший лейтенант, заполняя протокол и невольно прижимая ладонь к носу. Я возвращался домой с работы, незаметно огибал карнавал из трех/тридцати трех человек и, полулежа на диване, пытался развлечь себя любимыми фильмами, пока эту лихую тройку не угомонят.

В относительно тихое время суток, проходя по коридо-

ру дома в сторону выхода, я постоянно встречал разные лица. Одни были мертвы, другие – близки к смерти. От месяца к месяцу мертвецов становилось все больше. У остальных, у которых вроде бы был заметен блеклый огонек страсти по живому, я находил стеклянный взгляд. Казалось, будто за их зрачками следовал плотный лист черной бумаги. Такое мнимое жизнелюбие, в котором радость и удовольствие вдвойне острее ощущались от боли и страданий. Я начинал чувствовать, что имею дело с тотальной эпидемией, разбрасывающей свои удобрения, как похотливый бегемот в разгар брачных игр. Вирус распространялся в геометрической прогрессии. Сами лица были разные. Верней, рисунок лица. Этот стихийный калейдоскоп вертелся вокруг меня с бешеной скоростью, что я боялся сойти с ума. Иной раз мне чудилось, что в моей избушке проживают минимум две сотни людей. Тем не менее, мало кто из них бросал на меня взгляд, пытался мимолетом обозначить проходящего мимо. Хотя бы его психическое состояние. Хотя бы его внешний вид. Хотя бы пол.

Будь я хоть в костюме пингвина, половина моих соседей по дому пройдет мимо, как ни в чем не бывало! Какая-то погруженность в собственный внутренний вакуум словно отключает человека из игры. Он перестает активно сопереживать, чувствовать этот мир. Перестает быть в него включенным. У меня было стойкое ощущение, что и меня кто-то уже давно тянул за мой провод. Не так сильно!

Одни глаза меня поразили и въелись наглухо в мою память! Они принадлежали тому самому мужчине в сером. Был он лет пятидесяти, может быть, чуть старше. Его колючий взгляд, брошенный вскользь, казалось, был направлен мне прямо в голову, в самый ее центр. Его зрачок словно пытался выковырять из меня мое имя. Казалось, в каждом глазу у него их штук по пять – не меньше. И когда мы успевали переглянуться на долю секунды в этом тесном коридоре, на меня смотрели не одна, не две пары глаз, а бесчисленное множество ореховобурых светящихся зрачков. Они бегали, мельтешили по белесой коже, пытались меня загипнотизировать. Тонкий ум, особый вкус, чувство гармонии – я был готов многое приписать этим глазам, чья глубина, почти как гроб, плотно вмещала в себя мое тело, не давая свободно пошевелиться. Я жаждал знакомства, меня одолевал интерес. Убийственный интерес до этой личности. Но мне, скорее, хотелось развенчать в своем сознании этот завораживающий, таинственный образ. Я хотел его опустошить, разочароваться в нем. Чье-либо превосходство я переносил болезненно.

Случайный диалог в продуктовом супермаркете нас свел и мы познакомились.

– Если вы так и продолжите питаться этой дрянью, – звучал мужской низкий голос откуда-то из-за спины, – то в мои годы будете посещать аптеку чаще, чем любое другое место.

Я оглянулся. Это был он. Потертый сапфировый плащ

до щиколотки. Густые пепельные волосы местами торчали в разные стороны, но в целом лежали ровно. Он имел утонченное, гибкое телосложение, однако и не выглядел хилым мужчиной. Его взгляд с кислинкой на пару с незаметной улыбкой скользнули тенью по моему лицу и задержались на содержимом моей тележки. Внутри нее были три-четыре упаковки быстрого питания: с курицей, со свининой, еще с грибами вроде. Зато недорого.

– Вы ведь не впервые покупаете именно это?

Это был риторический вопрос? Или мне нужно было что-то ответить?

– Эм... да, не впервые, – буркнул я, как школьник, пойманный на перемене с сигаретой. Я даже умудрился опустить голову вниз. Черная кожа его ботинок была тщательно натерта гуталином. Они даже блестели немного. Если присмотреться в правый, в тот, что стоял близ меня, можно было разглядеть две трещинки на носке. А также кусок уличной грязи на крае подошвы и слегка распушенный кончик шнурка, едва соприкасающийся с кафельным полом. Черные мужские ботинки. Чем я занят?

– Мой вам совет, – продолжал он, – купите пачку гречки, килограмма три картошки, любые рыбные консервы – лучше всего сайру. Выйдет в два раза дороже, но спасет ваш еще молодой организм от проблем в старости. Поверьте старику, – он положил мне худую морщинистую ладонь на плечо и говорил дальше, все не переставая смотреть мне в глаза.

за, – камни в почках – это унижительная пытка, достойная людей, потерявших к себе всякое уважение. Вы же таким себя не считаете?

Его улыбка сделалась шире. От этого лица исходил слабый свет, хотелось во всем с ним согласиться и всему верить. Он отдернул руку и протянул ее мне, как какое-то спасительное лекарство.

– Григорий Гранатов, – медленно произнес он. Я пожал ему руку со словами – Михаил Могилёв.

– Мы с вами соседи, – он вытягивал свою речь, как будто стараясь сделать ее объемнее. Говорил без какой-либо спешки, как человек из предыдущего тысячелетия, – Моя квартира – через одну. Заходите как-нибудь на чай.

Кажется, я сказал – приду, спасибо. Но слова смялись у меня во рту, как картофельные чипсы, и на выходе вышло что-то невнятное. Кивнуть мне тоже не удалось. Помню точно, что челюсть немного подалась вниз в попытке поблагодарить Григория. Секунду другую он ожидал от меня услышать нечто вразумительное, нежели проглоченный комок смешанных в кашу букв. Мое невнятное молчание счел, по-видимому, за согласие и продолжил дальше катить свою тележку с продуктами куда-то в сторону.

– С меня виниловое путешествие на темную сторону луны. – Бросил он, уходя. Заметил, очевидно, мою татуировку сзади на шее. Наблюдательный. А что? На виниле я еще не слышал. Надо зайти. Притягательный у него голос, черт

возьми!

В его тележке стояли три бутылки белого вина, ноль-семь виски, несколько бутылочек с кофейными, шоколадными ликерами, большой треугольник сыра, узкий и продолговатый багет, пара гроздей черного винограда и два лимона. И это он мне что-то говорит про здоровье? Не всем этим продуктам желудок будет рад. Пятьдесят на пятьдесят.

– А для вас здоровье уже не так важно?

Зачем я это спросил? Опять как школьник, честное слово.

Григорий оглянулся вполоборота, не разворачивая до конца всей фигуры ко мне. Его удивленные брови приподнялись чуть вверх, как бы выражая свое недоумение. Вопрос? Здоровье? Для вас? Он не ожидал от меня, что я решу продолжить эту тему. Взбрело же в голову, я и сам был удивлен не меньше. Вся кожа его лица покрылась маленькими сухими трещинками, выделились жирно морщины на лбу. Его баритон звучал так же серьезно, как и прежде. Однако, я почувствовал, как проскользнул легкий холодок в его ответе.

– Видите ли, я уже свое прожил. – Небольшая пауза. Григорий глянул куда-то вверх, будто в поиске подходящих слов для выражения мысли, и, взяв немного воздуха с потолка, произнес следующее. – Я перестал проживать свою жизнь, когда однажды заглянул за ее пределы. Для меня в ней не нашлось ни смысла, ни места. И ценность ее обрела значение случайного звука, брошенного немим человеком в качестве ответа на вопрос «Почему ты всегда молчишь?» Един-

ственное, чего мне еще до сих пор хочется – это попробовать жизнь на вкус. Да. Вкус к жизни – то последнее, что осталось от Григория Гранатова в этом мире.

Через секунду он двинулся в сторону кассы. А я все продолжал стоять на прежнем месте, кажется, около молочного отдела, бессмысленно переводя опустошенный взгляд от желтого ценника к белой этикетке с изображением коровы и обратно... и обратно... и обратно...

## 2

Семь утра. Вроде бы поднялся с постели, а вроде бы и нет. Сплю, но наблюдаю за собой со стороны, словно опытный естествоиспытатель, просунувший голову в квадратный ящик камеры-обскура. Человек, мужчина. Выглядит плохо, физиономия разбитая. На его месте любой другой, к примеру, Я, остался бы дальше помирать в своей постели, а не рвался наружу с мыслями о собственной несостоятельности или хотя бы не делал вид, что окружающее является предметом его жизни. Этот прямоходящий моментально умывается, садится за стол. Одним махом опрокидывает в горло стакан воды комнатной температуры. Надевает брюки, носки, что-то мягкое из плотной ткани поверх туловища. Хватает бумажник со стола. Повязывает шею шарфом, завязывает шнурки, закидывает сумку на плечо. Отпирает дверь. Задерживается у порога, смотрит в зеркало и произносит мне: «Эй, ты. Проснись. Мне с тобой некогда возиться. У меня дела...» Выходит из квартиры и громко хлопает дверью. Я открываю глаза. Что это было?

Медленно поднимаю свое как будто свинцовое туловище – как же все надоело. Вернусь домой – сразу спать. Обещаю.

Сажусь завтракать. До бункера своего идти нет никакого желания. Не такой я уж и вонючий, в конце концов. На столе

варенные яйца. Говорят, по утрам полезно съесть две штуки. Ну и пусть дальше говорят, это они любят. Дай им только волю. Чищу. Половина белка отрывается вместе со скорлупой и летит в мусорное ведро. Туда ему и дорога. Вон как полетел. Давай, не промазывай. Так-то лучше. Только погляди-те: это яйцо так и рвется оказаться среди мусора. А что насчет моего желудка? Нет желания? Неужели?! Ну уж нет! Кусаю раз, затем еще. Посыпал солью. Чайник закипает. Теперь не всухомятку. Жуется неплохо. Я бы сказал вкусно. Надо бы с хлебом. Высох, отлично. Достал сыра. Кусаю так. Горячий чай – обжигает – да невозможно же так пить – я люблю этот день! Все ложки с каким-то твердым липким налетом. Пришлось пойти помыть. Холодная – как обычно. Почищу зубы заодно. Ладно – побреюсь тоже. Возвращаюсь на кухню спустя пять минут. Ну ладно, пятнадцать. Добавил сахара в чай. Ем второе яйцо. Та же история. Во рту вязко. Набрал в рот немного майонеза. Тщательно почавкал, помял зубами тягучую кашницу – другое дело. Через десять минут надо выходить. Как же не охота. Оделся, два раза пшикнул на грудь туалетной водой. Вышел. Иду.

Три квартала позади – топаю дальше. Внезапно в моей руке оказывается красочный флаер с изображением аппетитной темноволосой женщины в объятиях смазливового короткостриженого брюнета. Через пять шагов эта бумажка превращается в скомканный угловатый шарик, прыгающий по асфальту от игры ветра. Меня приглашали записаться

на курс латиноамериканских танцев. Ага, уже звоню.

Был у меня как-то знакомый. Старше меня лет на восемь. Я так до конца и не понял причины, почему он меня постоянно с деньгами выручал. Знакомы мы были чисто формально. Привет – пока. Он был безнадежно влюблен в ритмы сальсы, бачаты и меренге. По его словам, искусство танца – для него это больше, чем жизнь, чем любой человек в этой жизни. Но я-то прекрасно понимал, что ему просто нужна была баба, хоть какая-нибудь, хоть на полтора часа (пока длилась репетиция). Во время этих тренировок улыбка не сходила с его лица. Внешне неказистый, долговязый, весь неправильно сложенный, да еще к тому же с откровенно тупой физиономией. Его руки манерно гуляли от талии к талии, от рук одной женщины до рук другой. Он прижимался телом, соприкасался в коленях, пальцами изучал изгибы чужих спин. Казалось, он кружился в полнейшем забытии, отчаянно перебирая ногами, под чарующий, приторный голос Чарли Палмьери, расходящийся морскими волнами изпод шаманских ударов бонго по сочным скачущим нотам электрофортепиано и извилистому медному свисту тромбона. Прошло лет десять. Он объездил полсвета. Открыл собственную студию в каком-то провинциальном городе. По-прежнему его руки тянулись к женскому телу. По-прежнему улыбка не сходила с его уже не молодого лица. По-прежнему – не женат.

Я был почти у цели. Наконец-то!

У крыльца стояли мои коллеги: два повара и совсем еще юная девочка – видать, очередной стажер. Ребята курили по второй. Шла оживленная беседа – делились опытом, поясняли, что к чему тут у нас. Справа от дверей служебного входа в ресторан висел кусок прямоугольного картона тридцать на двадцать сантиметров, или около того. Самодельная табличка, державшаяся на неумело прибитом гвозде с погнутой шляпкой – дело рук нашей управляющей Лидии Петровны. Из-под засохших пятен от плевков и многочисленных черных кругляшков, оставленных от потушенных сигарет, при желании можно было прочесть несколько слов, написанных темным маркером – «Не мусорьте, пожалуйста». Написано было криво.

Рабочая смена начиналась в восемь утра. Ресторан для гостей открывался – в девять. За час нужно было подготовить рабочее место. Проверить маркировки, заготовки. Помыть, нарезать, упаковать что-либо по необходимости. И ближе к девяти – принять продукты и расфасовать их по холодильникам. Понемногу подтягивались официанты. Мне дали закурить. Пришлось через силу тянуть дым. Не отказываться же.

Мои коллеги грубо материли нашу управляющую, единственного человека с ключами от всего заведения и, в частности, от той двери, возле которой толпился шумный молодежь. Она всегда опаздывала, не находя нужным ни извиниться, ни объяснить окружающим в чем причина. Немая сцена

в отпирании замка сопровождалась вдруг притихшей речью и щекотливым хохотком. Минуту она искала нужную связку в сумочке. Еще полминуты пыталась попасть металлическим концом в железное гнездо. Два поворота вправо. Отключение сигнализации. И только потом мы попадали внутрь. Я заходил последним.

К сорока семи годам у Лидии Петровны не было ни мужа, ни детей. Судьба, прожитая фактически вхолостую, высушила в ней всю женственность, авантюризм, игру. Не замечая оскорблений со стороны подчиненных, или делая только вид, она тихо и сухо исполняла свою роль, почти ничего не требуя, едва ли к чему придираясь. Говорят, в лучшие ее годы, задолго до моего появления здесь, ресторан своей популярностью и оборотами был полностью обязан этой женщине. Она дышала здоровьем, свежестью, была полна сил и азарта. Порой безрассудно она всем своим существом отдавалась профессии. Держала под жестким контролем все до самой мелочи. Концептуальные новшества, незаурядный тонкий подход к решению производственных задач, позиция равного с подчиненными, чуткость до их просьб – были обычными признаками стиля ее работы. За это ей отвечали любовью. Но какие-то неизвестные мне повороты в ее жизни или пронесенный сквозь года груз мыслей и душевной боли перечеркнули в ней интерес к самой себе. Она стала злоупотреблять алкоголем, начала курить, делая это неумело, по-детски. Сталкиваясь иногда с ней в коридоре, я ви-

дел, как ее опустошенный отрешенный взгляд пробежал мимо моего лица, мимо этих белых стен, мешков, коробок, казалось, он бежал куда-то далеко мимо всего человеческого. Часами она могла сидеть в своем полупустом кабинете наедине с одними и теми же меланхоличными, абсолютно монохромными мелодиями французского композитора, что-то нашептывающими ей о лете семьдесят восьмого на улице водопадов. Лишь изредка она выглядывала в зал с целью сказать официантам, что нужно бы чуть быстрее обслуживать, убрать вон те два стола и... и... и... перестаньте же жевать жевачку. Но, не успев выговорить последнее слово, скомкав как-то неуклюже свое замечание под девичий ядовитый смешок, брызнувший откуда-то из-за спины, она стыдливо, прикрыв двумя ладонями лицо, убегала прочь к себе в кабинет в холодные объятия Яна Тьерсена, сглатывая подступивший к горлу соленый комочек горя. Никто, разумеется, на ее просьбы не реагировал.

Прошло уже минут пятнадцать. Я был без шапки. Все крыльцо оживленно хохотало и тряслось. Я старался не отставать. Часто нам приходилось ждать до получаса, пока, наконец, двери не отомкнутся, и мы не приступим к работе. Этот ритуал дружественного всеобщего поношения стал излюбленной местной традицией. Можно предположить, что многие из моих коллег по пути на работу сочиняли в уме колкие фразы в ее адрес. Каждый по очереди вкидывал в общую копилку по одному оскорблению, грязному слову.

На молодых красивых лицах читалась сладкая ненависть, искрящаяся злоба, даже некоторое самолюбование. Весь этот негативный вброс от ребят исходил со вкусом, с напыщенным причмокиванием. Сам того не осознавая, каждый испытывал сладостное удовлетворение от брошенных с размаху слов. Щенячья радость одолевала всех от совместного приятного времяпрепровождения, от полного единодушия и всепоглощающего восторга. Взаимопонимание и общая поддержка царила в эти минуты. Нисколько не брезгуя, я автоматически включался в этот стихийный водоворот и утолял свой внутренний голод, вклиниваясь со словами – «После нее в туалет невозможно зайти. Вонина вонини полнейшая». Дамы смеялись громче всех.

Рабочий день длился невыносимо долго. Рутинные, однообразные действия вгоняли меня в тоску. Хотелось набить кому-нибудь лицо – себе, например. Небольшой закуток пространства, в котором суетились пять ребят вместе со мной, выглядел со стороны как человеческое густое вариво. Вертлявые, почти безостановочно повторяющиеся движения мои и других людей заставляли посуду, приборы, продукты, пакеты и прочие, прочие предметы – все, что находилось вокруг – двигаться буквально в музыкальном пищевом танце. Шум льющейся воды из-под крана вторил шипению и бульканью всевозможных мясных бульонов. Конвульсивный стук ножа резонировал с судорожными ударами деревянного молотка. Щекотливые звуки от передвиже-

ния по столу шуршащих тарелок, сложенных одна на другую в ровную цилиндрическую башню, сопровождали плотному, сухому звуку соприкосновения фарфора с железной прямоугольной поверхностью.

В моих ушах весь этот злозвучный гвалт оседал толстым шумовым налетом, доведившим меня буквально до сумасшествия на всем пути от нашей раздевалки вплоть до моей постели, вплоть до моего сна. Я чувствовал неприятный дробящийся на осколки треск внутри головы, как будто по моим барабанным перепонкам бразильские дети своими маленькими ручонками неуклюже выстукивали ритмы босановы. Мой череп раскалывался напололам как грецкий орех в лапах голодного грызуна. Мне казалось, что что-то очень крупное и очень злое просится наружу. Засыпал я с большим трудом – в лучшем случае только через полчаса.

В копилку ко всеобщему кухонному шуму – здесь постоянно играла музыка из радиоприемника. Кем-то задолго до нас была перманентно поймана и установлена в качестве основной одна из тех радиостанций, репертуар которой режет слух сильнее, чем белый шум, чем звуки пилы, елозящей металлической челюстью по ножке холодильника. Одноликие песни чередовались противным спазматическим смехом радиоведущих, тошнотворной рекламой строительных смесей, экипировки для охоты, салонов красоты и прочего хлама, обзором дорожной ситуации, какими-то новостными вырезками под устрашающую трясущуюся мелодию.

Но это еще полбеда.

Так сложилось, что мое рабочее место находилось прямо под этими двумя маленькими китайскими колонками. Оглушающие звуки из динамиков стекали откуда-то сверху на меня. Они стекали как жировые соки – плавно и размеренно, оставляя после себя склизкие следы на моей коже. Сам того не осознавая, режу ли картофель или тру сыр, я невольно заучивал эти идиотские мелодии, эти уродливые и бестолковые тексты попсовых песен, которые спонтанно возникали в сознании и отравляли, тем самым, и без того шаткое самочувствие человека, находящегося одной ногой за гранью нервного срыва. Мы перезимуем? Уходить по-английски? Пьяное солнце? Не надо стесняться? Я жертва тяжелой производственной травмы. Кроме шуток.

Но мне кажется, что я был единственным среди работников кухни, кому было не просто выносить местную обстановку, кому было противно от заразного балагана, участником которого я являлся по воле случая. Вернее, по воле моего безволия или от неспособности устроить свою персону куда-нибудь, где хотя бы тише. Мне лишь оставалось с завистью смотреть на окружающих. На их улыбки. На их самодовольные телодвижения. На кислую ухмылку настенных часов.

Все остальные люди в фартуках получали настоящее наслаждение от всего, что происходило на кухне и за ее пределами. Им хватало времени на пляски, неловкие подрыгива-

ния ногой в такт музыки между чисткой луковицы и рубкой фарша. Эти ребята успевали играть в какие-то тривиальные игры на своих планшетах, устраивали локальные чемпионаты, чествовали победителей. Наш старший, сушеф, мог даже беспардонно, пользоваться местными продуктами, как ему вздумается. Питался он богаче, чем питаются сами гости ресторана, и притом совершенно бесплатно. Он является местным составителем меню.

– Так-с... чего бы сожрать сегодня такого? – Спрашивал он сам себя всякий раз, когда приступал к очередному эксперименту.

Здесь была интересная традиция флирта. Знаки внимания оказывались путем пачкания спецодежды испорченной пищей. Ребята бросали друг в друга кусочки гнилых овощей, засохшие напрочь ломти хлеба, шкварки свиного жира, заплесневелый сыр, прокисшие маслины, коричневые куски банана в сантиметр толщиной. Иногда в дело шли и годные в пищу продукты питания. Это случалось, когда страсть в молодых телах начинала закипать до предела и переливалась через край. Официанткам доставалось больше всего. Девушки были в восторге.

Нередко бывали случаи, когда я заставал в перерывах совокупающуюся пару коллег в служебном туалете. Пары были разные: когда менялся один партнер, когда оба, порой их число превышало и становилось нечетным. Я не решался беспокоить эти энергичные тандемы – совершенно деликат-

но закрывал дверь и ждал, пока они закончат. Корпоративная этика, знаете.

Довольно часто они перекидывались друг с другом провокационными фразами. Старались найти в собеседнике слабые зоны и ткнуть туда острием языка. Смеялись. Болтали по пустякам. Делились своими похождениями по ночным питейным заведениям. Травили байки. Сплетничали. Они находили все это необходимым. Находили это остроумным.

Ко мне обращались, по-моему, только по делу:

– Миш, подай-ка мне соуса.

– Пойдем, мясо разгрузим, машина приехала.

– Нужно срочно за анчоусами сбегать. Цезарь стоит.

– Подогрей, а... А то этой мрази в рот не лезет – не горячее...

– Это мой нож.

– Не, не трогай. Ща уборщица подметет тут. Где эту старуху носит.

– Ну, отойди, хули встал.

– А это примета такая. Потыкаешь пальцами в блюдо – жди хороший чай.

– Глянь печку. Че там с рыбой?

– Ну и кто так толсто режет?

– Я же сказала – пасту только после солянки подавать.

– Не убегай сегодня. График составим.

– Грибной готов? Щас я ей туда плюну. Манеры ей не нравятся... хаха.

– Сделай погромче. Моя любимая играет.

– За своими руками следи. Я там только штаны свои трогал.

– Не стесняйся, ешь. У нас тут *такая* инвентаризация.

– Можно. Два дня – это не много. Съедят, не подавятся.

– Че... первый раз таракана видишь?

– Завтра вместо меня выйдешь, ага?

Иногда было и такое:

– Может, покурим? Ты же куришь? Угостишь? Ага, и огонек тоже.

– Займи денег, брат. Да не гони. Мне всего косарик. Я тебе вот завтра верну. Ну, то есть, на выходных. Ну, займи, не ломайся, выручишь меня. Мне сегодня подарок бабе купить надо. Ну, ладно. Давай свой фиолет. Придумаю что-нибудь. Ага. Отлично. Ну, давай, до завтра.

И даже:

– Знаешь, Миш, мне сегодня так хочется чего-нибудь романтичненького... ну, такого вот, миленького что ли... этим вот вечерочком. Может, ты это... может ты случайно там... ну... пригласить хочешь одинокую девушку в кино... там... ну, или в кафе?

Должен признаться, что я не мог до конца определиться со своими чувствами, которые я испытываю, находясь почти ежедневно здесь. И это не потому, что лишний раз не могу в себе найти силы отказаться от последнего предложения. Порой что-то свирепое меня переполняет, какая-то жгучая

агрессия, которая выражалась только в едва заметной моей нервозности. Порой я равнодушен и холоден ко всему как замерзшие ножки ребенка, часами лазившего по сугробам. А иногда вопреки своему разуму я начинаю вести себя удивительным и необъяснимым образом. Во мне просыпается интерес, боль и какое-то неизбежное сострадание к обжегшемуся от раскаленной конфорки Петьке, моему напарнику, который не раз плевал в мою сторону и будет и дальше плевать, обращаясь ко мне с просьбой сгонять за сигаретами; к нерасторопной и смешной Марине, так болезненно упавшей и уронившей поднос с блюдами себе на одежду; к нашей уборщице Алие, которая и по-русски то вымолвить ничего не может, за что и шутят над ней грязно, злостно, и над которой и я шучу ни чуть не лучше. Я сам не раз участвовал в массовом разбрасывании муки перед окончанием смены, и при этом я испытывал веселый ребяческий задор наравне с остальными. Но, когда волной на меня нахлынивает эта дичь, мне становится и плохо, и тесно в самом себе. Я не могу дать себе отчет в этой эмоциональной лавине, которая меня сносит с ног и валит на землю. Я как зомби действую наперекор тому, чего в действительности желаю (или только думаю, что желаю?).

В какой-то из дней я не один раз предлагал мучающемуся от сухого кашля Петьке ингалипт, лежащий у меня в сумке. Мне не жалко, говорил я, могу также таблетки дать рассасывающиеся. Они хорошо помогают, я и сам так лечусь. Два-

жды он меня посылал на три буквы. Дважды я оказывался в роли посмешища, мамочки с аптечкой. И я не ощущал ни обиды, ни злобы, а только сожаление. Одно тотальное сожаление, что меня не слышат, не хотят просто-напросто моей помощи. И все же на третий раз этот кашляющий человек соглашался со мной и протягивал руку со словами «ну, давай сюда, заебал уже... вот не отстанешь же, пока не дашь свои идиотские таблетки... ингалипт, леденцы (передразнивал он меня), ... нахер ты вообще их таскаешь с собой». Спустя время его кашель унимался и мне становилось легче, как будто это я как паровоз весь день грохотал и мучился от изнурительной боли в горле.

Я чувствовал, что эти мои действия противоречат чему-то важному и основополагающему, что они диаметрально расходятся с моими установками и целями. И я старался избавиться от этого недуга, что ли; старался погасить в себе этот безрассудный порыв, за который мне самому за себя было неловко. Как знать, может быть, я в этом преуспел.

Но, если быть честным, чаще всего я чувствовал какое-то омерзение от происходящего на кухне. Было мне здесь до жути мерзко. Я не придира, да и непритязательный вовсе. Но разве есть моя вина в том, что я чувствую, как будто в моем брюхе какая-то ехидная морда разливает канистру бензина и угрожает бросить зажженную спичку в центр черной лужи, пока бесконечно длится десятичасовая смена. Давайте я вас в знойный будний день подвешу тугой веревкой

за ногу к широким веткам дерева умдглеби посреди южно-африканского тропического леса и заставлю набирать жгучий воздух в ваши нежные легкие – вот, может быть, тогда вы сможете меня понять? Окружающая атмосфера напоминала собой сценическое действие в бытовой комедии театра уродов. Уже две сотни постановок я послушно отсидел в первых рядах. На еще одну меня может не хватить.

Я чувствовал себя пещерным человеком, находящимся в ожидании следующей стадии эволюции. Странно, что все мы без исключения имели знания о том, как включить плиту, как пользоваться слайсером, зачем нужна вытяжка и прочее. Взять бы весь этот сброд и сгрести их на необитаемый остров со всеми их беседами о сексе, о компьютерных играх, о постельных клопах, о стоимости бензина. Пусть там множат свою тщету. Пусть окончательно вырождаются на этом острове.

Эти первобытные разговоры не отличались разнообразием. В курилке я был невольным слушателем болтовни об автомобилях, футболе, еде. В раздевалке перед уходом обычно слышал жалобы на отсутствие «нормальных... таких... человеческих» условий. Чаще всего разговор сводился к обсуждению и критике низкой зарплаты и руководства. Ну, как критике. Это было, скорее, похоже на речевой понос со словами «мрази... штрафы... ублюдки... тянут с авансом... режут чай... стерва... я бы эту суку... и зачем новые блюда... во все щели... сама пусть пыль протирает... особенно

в задний проход». Порой я выражал свое согласие с ребятами, встречая с аргументами, мол, инфляция, падение курса, рост цен, сужение рынка. Меня, правда, мало кто понимал, но поддерживали. Главный смысл моих слов для людей выражался в моей интонации. Она гармонично вписывалась в контекст всеобщего диалога. Добавьте пару словечек с корнем на -еб- или на -пизд-, и внимание этих людей вам гарантировано.

Атмосфера затхлости была повсеместна от дальних уголков складских помещений до нейронных связей в мозгу у самого старшего из местных. Все было покрыто мраком и пошлостью. Всюду чуял я запах плесени и сырости. Но я обычно старался не подавать виду – не люблю конфликты. Иногда приходилось соглашаться на дебильные предложения. Где нужно было кивнуть – кивал. Часто шел на уступки. Когда меня стремились поддеть или унижить, я сводил все к шутке. Так сказать, сглаживал шероховатости в отношениях своим юмором и придурковатым смехом, как любила выражаться одна совершенно безмозглая любительница телепередач для женщин за сорок. Благо, шутить я умел, во всяком случае – я так думал. Коллеги это ценили. Со временем и подколы фактически прекратились или стали не такими болезненными. И все внимание переключалось на других. Чаще всего – на новичков.

Конечно, что-то изнутри меня жгло. Какая-то муть вертелась в моей груди, давила и сжимала. Дискомфорт одолевал

мое сознание. Хотелось спрятаться, а лучше – хорошенько поколотить себя. Прямо, чтобы до полусмерти. Но со временем пар незаметно выходил наружу. Мысли принимали привычный ход. Чувства мои подстраивались под общую картину. Я продолжал существовать в этом безыскусном обществе. Обществе дикарей.

Эти люди не отличали Кенигсберг от Гуттенберга, Брессона от Бессона, Белого от Черного, Маркоса от Маркеса, не знали разницы между классицизмом и романтизмом, симфониями Шнитке и Шостаковича, архитектурой Оскара Нимейера и Фрэнка Гери, но были полностью погружены в беседы о различии кобелей и сук. Они живут в мирах Ионеско, даже не зная о его существовании. Являются персонажами кинокартин Вернера Херцога, вовсе нисколько об этом не подозревая. О таком типе человеческого сознания в одной своей книжке писал Генри Миллер, сравнивая их с мелкими паразитами: люди – это вши, которые забираются под кожу. Где бы я ни находился, писал он, повсюду эти твари, создающие ералаш из своих судеб. Обездоленность, голод, страх – впитываются в их кровь с материнским молоком. Абсурд и Апокалипсис как чайки носятся в воздухе. Чешись как псих оголтелый с пеной на губах сколько угодно, хоть до крови, пока полностью не сдерешь себе кожу. Меня это чудовищно бодрит и доставляет невероятное удовольствие. Ни разочарования, ни сострадания во мне ни единой капли. Я жажду глобальных потрясений и мирового краха. Пусть

человечество зачешется до смерти. Пусть оно катится в тар-тарары. Приблизительно так. Дословно – не помню.

Если говорить про меня, то я, скорее, получал внутреннее жгучее удовлетворение от общения с этими паразитами, чем ощущал горькую подавленность и становился в пассивную позицию униженного. Или, вернее, эти плевки в мою сторону приобретали противоположное значение. То значение, которое имеет для старого бродяги выброшенная кем-то куртка с небольшой дырой на болоньевой ткани вблизи сердца.

Я как одержимый исследователь дикой природы залезал в самую гущу этой живности. Эти кровососы впивались своими острыми хоботками в мою кожу, болезненно высасывая все соки. Меня обдавало запахом пота, грязи, нечистот. Целиком с головой я уходил в эти кишасщие желчью помои. И там, как оголенный нерв, растворялся в упоительной сладости от соприкосновения с инородной плотью. Есть в этом доля нездорового мазохизма. (Или все же нет?) Я действительно получал удовольствие от того, что ненавидел и презирал. Я наслаждался процессами, которые меня разрушали и унижали. Я окунался в болотные топи и видел в этом маленькое счастье. Мне приятен был этот контакт, как приятно бывает порой зубочисткой поковырять больной зуб и расчесать его корни до почернения. И чем сильнее ты втыкаешь в желобок между десной и эмалью деревянное острие, тем сильнее эта жгучая боль расходится волнами по полости рта.

Эта боль эхом отдается в ушах, раздражает внутренности носа. Она свербит и ноет у тебя во рту как изнурительный детский плач, зудящий где-то за фосфорными стенками. Слизистая мякоть, изодранная в клочья до розовых дырочек, чешется все сильнее. Кровью пропитывается кончик зубочистки, а ты все скоблишь и скоблишь эту щель под пульсацию зубной боли. Погружаешься в боль как муха в сахарный сироп – ни о чем не думая, ничего не желая.

Я чувствовал, что меня разрывает на две автономные части, а может, и на тысячу частей. Говорю это, как будто веду речь не о человеке, а о большом мясном пироге. Словно чьи-то волосатые руки скомкали мое тело в несколько раз и довели его до круглой формы толщиной в дециметр. Духовой шкаф, нагретый до двухсот пятидесяти градусов, огрубил линзовидную поверхность моей кожи. Горячая начинка постепенно отдала всю свою влагу. Запах запеченного мяса распространил по кухне зыбкость моего существа, искусственность моих помыслов, фальшь моего голоса. Сунуть в чужие руки козырные карты и притвориться умалишенным, упасть на пол от смеха и судорог в животе, в шейных мышцах.

И эти же смелые руки аккуратно разрезали ножом овал моего лица на отдельные треугольные куски, каждый из которых был отравлен смертельным ядом. Один мой кусок задыхался от повсеместной духоты – ему постоянно не хватало чистого воздуха. Он будто рвался наружу, все время на-

мереваясь через боль самоистязания очистить себя от окружающей грязи. Другой – с упаковкой зубочисток во рту расчесывал себе все десна и упивался в болезненной тающей неге. Третий – по его словам, скептически смотрел на все это со стороны и подставлял с рабской прилежностью свои одутловатые щеки под оплеухи обстоятельств. Четвертый – еще даже и не родился во мне вовсе, а только зрел и зрел внутри меня, как подкожный прыщ, и ждал своего часа. Остальные же были мертвы. Смерть стояла, подбоченясь, у порога моего дома и исподлобья смотрела на меня моими уставшими глазами.

– Не сегодня, – говорил я, – извини, давай в следующий раз. На работе был тяжелый день.

Я обходил ее стороной или проходил насквозь. Еще пару шагов до моей кровати. Еще чуть-чуть.

– Да, конечно, – отвечала она. – Как скажешь.

И в очередной раз исчезала, как видение, как световая голограмма. На ее месте оставался лишь нежный фиолетовый дым, чей сухой холодный запах мерно обжигал легкие. Этот дым клубился и нарастал. Он обхватывал плотно мое тело и пытался поймать меня в свою ловушку, но я был уже далеко за пределами собственной комнаты, города, страны. Я со всех сил мчался как можно дальше без оглядки, оставляя после себя только фрагменты собственных снов.

# СюрГом

Как-то после рабочей смены я заскочил в бар СюрГом – он находился в пяти кварталах от моего дома. Говорят, там разливают отличный яблочный сидр и угощают сушеными крабами после каждого третьего заказа. Закусывать сидр крабами – звучит аппетитно, не так ли? Это была первая моя свободная ночь из череды наступивших выходных. Ее я хотел окунуть в бутылку янтарного напитка. Только лишь окунуть. Не топить.

Как только я попал в бар, меня тут же окутало насыщенным флером тропических фруктовых ароматов. На миг я поймал ощущение, что нахожусь ночью в персиковом саду посреди розовых цветочных узоров, вьющихся как змеи и играющих на солнце своими лиловыми, коралловыми, малиновыми оттенками. Откуда-то спереди на меня дышало терпкой прохладой и что-то коварное манило меня к себе. Я шагнул в темный изгиб узкого коридора и через мгновение с головой увяз в глубокой трясине около барной стойки.

Две-три дружных компании молодых ребят шумели, пошвыстывая, постукивая, подскакивая на своих стульях. Изредка они громко побрякивали из своих углов – кажется, это они смеялись так. Из колонок, свисавших с потолка, ритмично дрынькали перегруженные гитары вперемешку с колочими огрубелыми барабанами и хрипящим прокуренным

мужским баритоном, чередующим отрывистые фразы в духе Джаггера с мелодично текучей интонацией, добавляющей к этому кислотному коктейлю арабские нотки. Я уловил слова припева. Их было немного. Они звучали как-то так: «УоОорнтубиИиваАаАайлд... БоОорнтубиИиваАаАайлд»<sup>3</sup>. Что-то там... быть диким. Играют не дурно. Мне понравилось.

Матовые черные стены этого заведения были исписаны граффити. Отовсюду на вас смотрели портреты разных людей, выполненные в несколько психоделической, мистической, отчасти готической манере. Перламутровые, ахроматические, где-то алюминиевые, а где-то вовсе ядовитые цвета были использованы для предания этой магической галерее особого, пикантного шарма. В зале присутствовали только мужские портреты. На одной стене, располагающейся за столиками, блестел серебристый овал мужской залысины со взъерошенными по бокам седыми волосами, которые топорщились и своими колючими концами пытались проткнуть любопытные зрачки обывателя – то был портрет Артура Шопенгауэра. На другой стене, перегораживающей вход в общую для мужчин и женщин уборную, на вас алчными похотливыми глазами поглядывал Зигмунд Фрейд, куривший сигару в виде продолговатого фаллоса. Огненноалый хмурый лоб старого психоаналитика был похож на клубничную мякоть. Чуть дальше вы увидите могущественный массив-

---

<sup>3</sup> Steppenwolf – Born to be wild

ный облик Рихарда Вагнера, полуоткрытый увесистый рот которого как бы сообщал «Музыки после меня не существует». На его бледной щеке красовался солярный индийский знак, выполненный строгими крестообразными штрихами нефтяного цвета. Неподалеку был изображен в три четверти голубоглазый Байрон, отпивающий красное вино из горла бутылки с надписью «Эллиникос». Напротив него – в крепких мужских объятиях целующиеся в засос молодые Дантес с Пушкиным. Рядом с ними – обнаженный медвежий торс Хэмингуэйя с дробовиком и банкой пива в руках; дальше сидел на коленях с завязанными глазами Федор Достоевский, припавший губами к нательному крестик; Александр Скрябин, с ножом и вилкой поедающий за письменным столом разноцветную партитуру собственных сочинений; изображенный в виде русалки Михаил Врубель с двумя жемчужинами вместо глаз, висящий на дубовых ветвях и держащий в руках листочек бумаги с автографом Феофана Грека; Артюр Рембо, приветствующий гостей бара своей дырявой ладонью; Антонио Гауди, лежащий на трамвайных путях и пытающийся дотянуться дрожащей рукой до тарелки с паэльей; Джеймс Джойс, склеивающий страницы десятка два разных лингвистических словарей в поминальную молитву; Федор Сологуб, мастурбирующий с ошарашенными глазами в виде фотообъективов на изображение Игоря Северянина, кричащего Ой (ле-то, ой) ле-то; фигура хохочущего под столом Никола Теслы, сжигающего кипу скомкан-

ных листов; череп Самюэля Беккета без нижней челюсти, лежащий на томике стихов Данте; треугольный воротник Альбера Камю; два разнонаправленных глаза Жан-поля Сартра; изуродованное тело Всеволода Мейерхольда; андрогин Татлин-Малевич, пытающийся разорвать себя на отдельные куски, волосатая грудь над могилой Осипа Мандельштама. Сотни и сотни красочных, дерзких, оригинальных работ украшали этот грандиозный зал, высокий потолок которого, казалось, устремлялся в поднебесную тьму. Изюминкой этого дизайнерского решения был крошечный портрет Франца Кафки размером с пятирублевую монету. Знание месторасположения этих тоскливых, измученных глаз, принадлежавших желтому тараканьему лицу, на теле этой портретной вереницы было признаком того, что вы являетесь завсегдатаем заведения или, как вас могли тут называть – Метантропом. Ходит слух, что эти люди носили на своих одеждах круглую эмблему – фирменный знак бара СюрГом. На нем был изображен длинноволосый обнаженный мужчина на фоне пылающего солнца с протянутой к земле ладонью с широко расставленными друг от друга указательным и средним пальцами, разделяющими лучами света мир на части. Метантропы имели особые привилегии в виде первых бесплатных сто грамм Джеймисона или Бакарди на выбор гостя. Но, конечно, апофеозом этой жуткой, гигантской галереи был профиль Фридриха Ницше, выполненный в классической технике. Его дьявольский глаз, густой черный ком

волос над верхней губой, изломанные контуры громоздких надбровных дуг, утяжеляющих этот гнетущий уже не человеческий образ – все это было объято в символическую рамку в виде попеременно светящихся лампочек с серебристым стеклом. Глядя на немецкого гения, я всегда слышал одну и ту же завораживающую музыку, мелодия которой связывала мое горло колючей проволокой, стягивала мышцы ног тугими капроновыми нитями и пыталась придать моему телу – женственные черты. В моих ушах звучал голос самого Бога в минуты его суицидальных попыток. В моих ушах звучала прелюдия к третьему акту оперы Тристан и Изольда.

Стулья вокруг меня переставали быть пустыми. Кружка темного ячменного эля. Два бокала сухого вермута. Стакан объемом в триста миллилитров с коричневатомолочным коктейлем и полукруглым пластиком сушеного лимона. Заказы шли в учащенном ритме. Деньги вылетали из карманов как заботливые птицы из гнезд в поисках еды для своих детенышей. Ребята за стойкой трясли шейкерами, словно детскими погремушками на радость женской половине. Становилось все оживленнее. Становилось напряженнее. Этот вечер нахально набирал темп и претендовал на статус Vivo. Быстрее-быстрее. Нет времени притворяться кожаной обивкой диванов и кресел, на которых ты сидишь. Нет времени изображать из себя недотрогу, которой и дела нет до бездонной пропасти, ожидающей с минуты на минуту твоего ретивого прыжка. Циркуляция околочуев около моего стула.

Мелькание лиц напротив и за мной. Этот вечер скалил зубы, открывая свою голодную пасть перед лицом каждого посетителя. Этот вечер незаметно подкрадывался впритык к собственной миссии облечь происходящее в вельветовые ткани фиалкового цвета. Тени чужих конечностей начинали постепенно стеснять мои телодвижения. Незнакомые голоса понемногу навязчиво нашептывали идею выпить бутылку анжуйского залпом, от чего мне становилось, пожалуй, некомфортно. Или же несколько волнительно. Беспокойно ли? Неудобно? Но разве не за этим я сюда и пришел?

Золотистая жидкость плескалась в моем стакане от круговых движений дымчатого обглодка вместо моей руки – кажется, я начинал находить общий язык с этим местом. Конденсат, скопившийся на стекле, приятно охлаждал ладонь – делал ее влажной. Я потягивал первый свой сидр через толстую прозрачную соломинку, изредка высовывая голову из-под воротника пиджака, чтобы лучше рассмотреть ту девушку с шоколадным оттенком волос, которую я почему-то сразу заметил, как только вошел в СюрГом. Она сидела в одиночестве. Она напоминала собой нечто между азиатским божеством и персидской наложницей, хотя, впрочем, откровенно восточного ничего в ней не было. Ее лакомый вид удерживал внимание и оставлял после себя больной и какой-то даже теплый отпечаток в памяти, как те маленькие глаза бездомных животных, в которых мы видим отражение собственной обнищалости. Кто-то из мужчин пытался к ней подсесть. По-

видимому, бросал пару дешевых комплиментов, хотел угостить – но она пресекала любые попытки завести с ней знакомство. Надменная, резкая и оттого притягательная. Почти не улыбалась, говорила мало. Туманный холод веял от этой неподвижной скульптуры. Все как я люблю.

Местная иллюминация освещала половину ее кошачьего лица, и правую сторону платья леопардового цвета. Она сидела ко мне чуть боком так, что я мог с точностью рассчитать амплитуду расширения ее грудной клетки при вдохе и выдохе. Средней глубины декольте и ее наклоненная фигура над столом открывали для меня роскошный вид на ее округлости. Поднося широкий бокал красного вина к припухлым губам, она время от времени делала несколько мелких глотков или только создавала видимость, что пьет. Часы на ее запястье отсчитывали двенадцатый час, на моих же – начинался новый день. Взгляд этой девушки был сосредоточен на двери служебного входа, с каждым открытием которой подушечки ее пальцев начинали небрежно перебирать или тереть какую-то тонкую фиолетовую брошюру. И, судя по сервировке других столов, эта небольшая вытянутая книжонка была ее собственностью, ее личной вещью, с которой она пришла. Девушка зачесывала волнистые волосы на бок. Едва заметно красила губы. Насыщенно подводила брови. Подчеркивала тушью необычайную длину ресниц. Выводила темные стрелки над ресницами. Ее безымянный палец на правой руке был без кольца. Красивый палец.

– Я повторяю? – Говорит мне бармен, уже успев схватить мой стакан и отвернуться от меня где-то наполовину. Момента́льно – не дожидаясь ответа! Профессионал, чтоб его... Знает свое дело!

На вид парню лет двадцать пять, хотя и не уверен. Последнее время постоянно сталкиваюсь с людьми, внешность которых обманывает меня, как ребенка. Его аккуратно выбритая растительность на лице напоминала своей геометрией кусты ландшафтного парка времен Людовика четырнадцатого. Эта борода явно украшала его прямоугольное лицо, подернутое кривой ухмылкой. Одет он был в джинсовые бриджи и длинную голубую футболку с изображением темнокожей обнаженной женщины, облизывающей головку фисташкового мороженого, сидя на капоте красного кабриолета. Не будь этот парень барменом, я бы подумал, что этот бородач работает фрезеровщиком или оператором ЧПУ где-нибудь на заводе. Широкоплечий. Высокий. С большими выразительными глазами. Припухлыми пальцами и объемной ладонью. С такими руками бы на бас-гитаре играть! Короткостриженный, с небольшими залысинами по бокам – мечта всех женщин. Ну, с натяжкой.

– Нет? Или все же? – снова спрашивает он, повернувшись обратно. В его трясущихся покачиваниях из стороны в сторону в момент речи я находил недюжинные задатки актера. Живость его реплик, игра красок на лице, ловкие интонации как будто опытного болтуна могли взбудоражить и уговорить

даже самого занудного офисного клерка. Наблюдать за ним, конечно, удовольствие сомнительное. Однако, я сидел молча, вперив взор в его блестящую от пота переносицу. – Обычно, спустя час, мы предлагаем гостям заказать что-нибудь еще. Советую тебе взять какой-нибудь коктейль на основе крепкого алкоголя. – Он говорил так, будто мы знакомы лет десять. Не меньше. Спустя час. Брось... я и десяти минут здесь не провел. Он что, придумывает?

Очевидно, этот парень ждал моей реакции, хоть какой-нибудь. Надо бы что-то ответить человеку. Перебираю в голове свои познания о спиртном. Так... бурбон... sake... писко... женевер... Может его удивить? Пожалуй, в любой другой день я бы мог сказать, «налей-ка мне еще... любого сидра... грушевого, например... ну или... эм... плесни в стаканчик немного вискаря... на твой вкус». Но то ли тон его мне не понравился, то ли я был не расположен к общению. Не знаю.

– Вы тут со всеми на ты? – Спрашиваю я. И, действительно. Не сказать, что между нами была существенная разница в возрасте. Я не исключал того, что мог вполне оказаться младше. Просто, не люблю этой из ниоткуда взявшейся фамильярности. Не хватало, чтоб он еще меня по плечу приятельски хлопнул.

– Ну, да, – его улыбка удвоилась в размере, из-под верхней губы стали видны ровные белые зубы. Он приблизился вплотную к моему уху. Думал, что я его не слышу. Хах. – Ну,

че нам время тратить на все эти «может быть, вам чего-нибудь предложить» или «не откажитесь ли вы выпить что-нибудь из новой коктейльной карты». Лично я бы не стал разговаривать с таким барменом. – Он отстранился и принял прежнюю позу. В своих крепких руках он держал гигантский нож, с лезвия которого стекала капля лимонного сока, застывшая в виде запятой на металлическом кончике и блестящая как подсолнечное масло. Он технично завертел ножом в воздухе, поигрывая в процессе своими мускулами. Его напарник крикнул ему что-то про лед... про какое-то фраппе, и в ответ получил пару кивков со словами «Давай, не ленись, сделай еще». Сразу стало ясно, кто тут главный.

– Да и к тому же – куда проще фраза «Че будем пить?» – Кинул мне мой визави и тут же хлопнул меня по плечу. Да так хлопнул, что еще немного, и я легко бы свалился со своего высокого стула прямо на молодую парочку, проходившую за моей спиной. Зараза! Зачем так бить людей?! Я и так бы все понял. Кто-то из женщин слева хихикнул. Смешно ей...

Кажется, этот крепыш сильно перепугался и хотел извиниться. «Оуоу, ты как, в порядке?» И тянет свое ручище, пытаясь помочь мне поймать равновесие. О чем речь? Я сделал вид, что ничего, собственно-то, и не произошло, что это я шучу так, да и вообще – меня невозможно свалить. Я сама незыблемость. Да что там – скала! Другого такого и не встретите нигде! Чтобы окончательно уверить его в этом, я ему решил подмигнуть. Постарался сделать это как можно лов-

че. Вышло – не очень.

Куда проще фраза, говоришь? Что ж. Парень был прав. Аргументация «железная». Тем не менее... В выходные бар ломится от засилья пьющей молодежи и работников среднего звена. Свободного времени у ребят за стойкой немного. Здесь нужно быстро принимать заказы и наливать, наливать, наливать. Порой приходится стоять на ногах несколько часов подряд. Работа не из легких, но есть и свои плюсы. Как минимум, можно отхлебывать втихомолку любые местные напитки от сибирского пива до шотландского бренди. Главное соблюдать меру, чтоб не напиться вдрызг.

Я выложил на стол две бумажки с одинаковым трехзначным номиналом и заказал что-то из крепкого на его выбор. В ответ получил два размеренных плавных кивка головой с выдвинутой вперед нижней челюстью. Кажется, мы начинаем понимать друг друга. Он окунулся в бутылочный мир, и тут передо мной предстало что-то между цирковым трюком и филигранной работой ювелира. Меньше, чем через две минуты бармен подал бокал в форме тюльпана, внутри которого был смешан ром медного цвета с колой и с каким-то сладким соком, на вкус похожим на что-то из цитрусовых. Небольшой кусочек лайма был воткнут в краешек стекла. Красота!

– Свободу Кубе! – Неожиданно крикнул здоровяк по завершении своего фееричного этюда, взметнув толстенный кулак в воздух. Это прозвучало так, будто он желал разнести

ко всем чертям весь этот барный гарнитур – раздробить всю мебель в щепки. Эй, парень, это просто коктейль, расслабься.

Название-лозунг. Да еще какой! Выходит, опустошить этот бокал – дело чести. Если, конечно, во мне не умер революционер. Но чему умирать там, где все ни мертво и ни живо. Где слова могут менять свои значения десять раз на дню. И на то, кстати, имеют полное право. Маскарад мировоззрений – есть точный эпитет события, в которое нас случайным образом всех забросило и, в то же время, есть результат недобросовестной селекции, в котором мой облик имел неувлимые очертания, впрочем, как и все вокруг. Амбивалентность происходящего допускала потрясающие погрешности, за которыми зияла содержательная лакуна, а пустота, любясь своим отражением, придумывала себе имена, прозвища, создавала биографию Квазиреальности, написанной с заглавной буквы на страницах нынешней эпохи. Аморфность мозга и диффузия смыслов – картина маслом пациента психиатрической больницы, украшающая гостиные комнаты подавляющего большинства жителей планеты. Эталон – утрачен. И повсюду звучат гимны о величии этой утраты. Я в числе первых кидаю булыжник в могилу всеобщего растления, или всеобщего сомнения, или всеобщего обожествления, уединения, благословения, увеселения, брожения, угнетения, землетрясения – не важно. Никакой разницы я не вижу, да и дело мне до этого никакого. Все суть одно! Все

суть – движение замкнутой статичности в динамической кинематике покоя и его траектории полураспада, помноженной на градус собственного объема, вычтенный из потенциальной мощности солнечного света, возведенной в степень коэффициента полезного бездействия. Все суть – какой вкусный коктейль, надо запомнить название. Свободу Кубе! Ура!

Революция – эффект разжимания плотно сжатой пружины. Сжатой до предела. До уплотнения металлической нити. Сжатия ее фактически до плоского состояния. Но эпоха сменила качество вещества, из которого вылепила себе свои игрушки, являющиеся как элементом декорации, так и действующим лицом. Плотность материи уменьшилась на порядок. И я поднимаю свой бокал за хрупкость, за зыбкость, за шаткость всего сущего. Да здравствуют нежные мясные ткани, смягчающиеся год от года! Вперед – к жидкой плоти! К водянистой, ускользающей субстанции!

Танцевальная площадка постепенно заполнялась. Короткие платья, броские туфли, блестящие блузки, юбки, сверкающие легкие кофточки, тоненькие маечки, шорты – все это отплясывало под ритмы какой-то пост-гранжевой старой песни а-ля Pearl Jam. Атмосфера этого места с каждой минутой начинала мне нравиться все больше. Но среди типичной публики были и весьма неординарные личности. В центре танцпола кружилась с раскинутыми в стороны как будто плавающими руками похожими на толстые плавники девушка с невыразительными грубыми чертами на всем своем рыбьем

лице. Чем больше она старалась привлечь к себе внимание кривыми изгибами спины и живота, тем сильнее от нее шаршился народ. Она была в адидасовской олимпийке, в туфлях на высоком каблуке и с ободком на голове в виде трех искусственных красных роз. Более нелепого сочетания я не встречал. Рядом с ней плясала, очевидно, ее подруга. В шерстяной невзрачной толстовке (как же тебе не жарко-то?), юбке-карандаш и высоких сапогах. Ее пляски отпугивали от себя не меньше, чем круговые движения модницы в трех-полосочной амуниции. Эта горе-плясунья, пригнув как-то голову книзу, изредка болтала плотными коленями как двумя маракасами и, прижав вытянутые руки к телу, дергала судорожно плечами, вращала ими (старалась достать до потолка?). Кажалось, эти широкие, едва ли не мужские плечи, завладели всем телом этой коренастой бабы с картофелем вместо лица. Чуть ближе ко мне несколько тощих молодых ребят ростом в два метра в такт музыки трясли затылками и прыгали на одном месте, как пара одуванчиков. А чуть дальше крепкий бородатый мужичок в кепке и потной майке, согнув колени, переминался с ноги на ногу и тряс конечностями в воздухе. Все это человеческое месиво начинало сгущаться и биться в едином порыве. Толчки в спину, броски из стороны в сторону, пихание локтями, прыжки боком. С каждой секундой слэм набирал обороты, как двигатель грузовика, увеличивающего скорость на открытой трассе, устремленной к центру Земли. Еще одна песня, и я сам ринусь в этот сгусток энер-

гии. Или не ждать? Или прямо сейчас?

Я сделал небольшой глоток от своего коктейля и глянул на темноволосую девушку – ее уже не было. Этой пантеры не было ни за этим столиком, ни в зале, ни за баром. От нее осталась лежать только та самая фиолетовая брошюра. Теперь же на этом диванчике сидела эксцентричная парочка каких-то обрюзгших, немолодых тружеников земли с неммыми физиономиями. Судя по их виду, они пили по пятой или шестой кружке пива. Сидели они почти в обнимку. В пол оборота друг к другу. На расстоянии десяти сантиметров. Вы еще поцелуйтесь!

С одной стороны, мне было жаль, что я ничего не предпринял, чтобы сблизиться с этой шатенкой. Мне до ужаса хотелось женского тепла, внимания, ласки. Но, с другой стороны – я понимал, что шансов у меня было немного. Последняя моя подобная попытка двумя месяцами ранее обернулась какой-то смехопанорамой. Длинноволосая блондинка с вызывающим взглядом виляла своими ягодицами на площадке ночного клуба, стоя ко мне спиной в окружении порядком нетрезвых подруг. После десяти минут стратегического планирования на хмельную голову я решил медленно, не спеша обхватить ее стан, таз, живот – хоть что-нибудь, до чего успею дотянуться, и прижать к себе. Ей должно понравиться! Она же так на меня посмотрела – хищница моя, иди ко мне... Результаты моего соблазнения нельзя назвать неудачей. По моему лицу пришлось что-то резкое и недружелюб-

ное. Через мгновение меня схватили под мышками и потащили куда-то как тушку для разделывания. Мой недопитый бренди был уже в чьих-то чужих руках. Я оказался на улице. Пьян. Утомлен. Не удовлетворен. Незавидный расклад? Да и ладно. Да и пошла она. У нее нос с помидор и зубы кривые.

Бармен придвинул ко мне пару тройку ананасовых кубиков, аккуратно разложенных на квадратной тарелке.

– Угощайся, – улыбаясь, сказал он, – ананасы – это за наш счет, ну или за мой косяк. – И ручищей своей начал вертеть около моего уха, напоминая, как чуть не опрокинул меня. бог с тобой! Я уж и забыл об этом. Ну ладно, разве я могу отказаться. Ммм... ананасы. Профессионал, чтоб его...

Он мигнул правым глазом, увидев меня довольного. Кинул себе на плечо полотенце и двинулся к кассе – потом наводить порядок на полках, на столах к своим бутылочкам и исчез куда-то на время.

Я медленно попивал виски. Он щекотливо проскальзывал между языком и губами. Глянул на лобызающих друг друга мужичков. По-прежнему сидят и хохочут, заедая третьей тарелкой чесночных гренков свою мужскую любовь. Фиолетовая книжица лежала на том же месте – не замеченная этими фрикаделистыми медведями. Не взять ли? Очередная реклама? Советы для похудения или афиша развлекательного центра? Может и желтые страницы. А может, и нет. Эти странички должны были сохранить ее запах. Запах ее сумочки. Парфюма. Ай, пусть лежит себе...

Я пробежался по всем этим живописным мужским лицам, безнадежно застывшим на окружающих меня стенах. Разные фигуры двадцатого и девятнадцатого столетий. Философы, писатели, композиторы и прочие серьезные лица. И мне тут пришла в голову фраза не то поэта, не то звезды музыкальной поп-сцены, не помню. «Зачем мне двадцатый век, когда у меня есть девятнадцатый». Мысль претенциозная, немного консервативная. От нее пахло дешевым снобизмом и традиционалистским пафосом. Напыщенная дурь, словом. Конечно, нельзя отрицать значение позапрошлого века, но ради него отказываться от прошлого столетия? Что за глупость? Бестолковое транжирство, да и только. Лично я ни за что, да и ни при каких условиях не променяю историю двадцатого века с его безбашенной устремленностью куда-то далеко за пределы своих возможностей, с его титанической волевой хваткой, с его мощной жизненной энергией, с этой бушующей страстью, пышущей злостью жгучей и самовлюбленной. Весь этот неотесанный и жестокий нрав, при котором все оправдывало все. Прекрасно! Разве нет? Может быть, я захвачу на свою подлодку пару другую толковых мужей из века девятнадцатого, и довольно с того? А еще лучше – плюну на все, что было до... Сделаю вид, будто ничего и не было. А вы и не докажете. Даже, если ваше желание превозможет вашу натуру. Дохлый номер. Эй, бармен, мне только XX век. Не разбавляй.

– Слушай, так вкусно. – Я допил последние капли и слу-

чайно стукнул стеклянным дном о столешницу. – Налей чего-нибудь еще такого же. Ага. Сколько? Держи. – Меня переполняла радость, мне хотелось танцевать. Люди вокруг, казалось, приветствовали меня как своего соплеменника – я отвечал тем же.

На этот раз в моем стакане была текила, лаймовый сок и яичный белок. Ты оценишь, кивнул мне бородатый здоровяга, заметив мое удивление. Что ж, доверюсь его вкусу. Помню, в детстве мой отец пил сырые яйца ежедневно по утрам, пока не схватил гастрит и не скончался в итоге через семь-восемь лет. Не то, что бы я боялся схватить болезнь – это было бы глупо. Не люблю сырое. Вот и все. Я слегка пригубил свой стаканчик – ммм... а что? Не дурно! Рядом со мной оказалась тарелка с морским деликатесом и тонкая вилка с тремя зубчиками. Четыре толстых мясных кольца с оранжево-красной дужкой. Это у нас напрямиком с Сахалина, услышал я. Да вы что? А устриц у вас случаем нет, спросил я и получил в ответ не то ухмылку, не то вообще носовой хрумст. Мда... иди-ка, парень, высморкнись, а я пока займусь этим крабом. Что ж, «за здоровье Палыча» пронеслось в моей голове, и я начал макать белую мякоть морского чудовища в мраморный соус с мелкими листочками розмарина. Как же это чертовски вкусно! Я получал приблизительно то же удовольствие, как при просмотре Антихриста.

Диджей в глубине зала увеличивал громкость музыки.

Его чересчур длинные руки пытались что-то поймать в воздухе, они были похожи на две сухие веревки. Им бы пришвартовать свое грохочущее судно, что без конца странствовало по просторам мелодий последние часа два, три? Какой-то расплавленный обжигающий шум вытекал из динамиков. А мой язык старался схватить хотя бы одну интонацию, чтобы прижать ее к небу и впитать в себя горечь сумасшедшего балагана, самозабвенно несущегося куда-то в дикие прерии.

Бывает, что не успеваешь оглянуться, как все вокруг уже напрочь изменило свои очертания, перестало быть тем, чем казалось раньше. Одни люди резко сменили других. Те другие, будто переодевшись или перекрасившись, стояли перед тобой, как ни в чем не бывало. Чувство опьянения начинало понемногу меня растворять в своих крепких объятиях. Кажется, я сбился со счета своих заказов. В кармане моих штанов от десяти тысяч рублей остался только скромный шорох пятисот рублевых купюр. На мгновение я словно провис в воздухе, забыв о том, что такое дыхание, где я нахожусь и как отсюда выбраться. Голоса вокруг меня напоминали животных африканской саванны. Руки, перепончатые лапы, тяжелые крылья, заточенные когти, шершавые хвосты, узкие ноги, гибкие плавники, звериные морды – все это смешалось и начинало вертеться, кружиться и шуметь. Басовый гогот барабанил по столу, по стенам, некто смотрел на меня своим чешуйчатым смехом. Световые пятнышки прыгали

и скакали по кожаным диванам, по моему лицу. Мне хотелось поймать один из них и прижать к груди. Я махал руками, представив себя птеродактилем, желая оторваться от земли. А что, собственно, представлять? Еще пару попыток, и мембраны моих крыльев, глотнув воздуха, унесут меня под потолок, к портретам великих немцев. Взмах. Еще один. Еще разок. И. Что? Лечу? Точно?

В какой-то момент я очнулся от хмельной одури. В одной руке я держал шот с прозрачной жидкостью, в другой дольку лимона. Лысый убитый мужик с сигаретой в зубах сидел напротив и орал мне, громко свербя зубами – с богом, давай! С каким еще богом, думал я. О чем это он?

Мужик был одет в длинную кофту грязно-песочного цвета, широкие потертые джинсы и ботинки размера сорок пятого где-то. Его физиономию можно было легко спутать с половой тряпкой. Какие-то засечки, морщины, родимые пятна, синяки – весь этот портретный ансамбль завершался большой мясной шишкой у виска. Его мясистая рыхлая ладонь помогла мне опрокинуть в себя содержимое стопки полуброском, полуударом. Ну, спасибо! Подсобил. Стало кисло, одновременно горько и тухло во рту. Внутри меня все закололо, заиграло. Из горла исходил мягкий полутреск. Я кинул в рот лимон – зажевал. Пора сваливать отсюда. Я сполз со своего высоченного табурета под ликующие аплодисменты этого разлагающегося джентльмена. Силы от меня вмиг куда-то улетучились. Желания идти домой, впрочем,

как и оставаться здесь – у меня не было. Хотелось отключить свой блок питания, выдернуть его из розетки и рухнуть оземь, пробив своим лбом дыру в земле размером с телевизор. Но я включил автопилот и неторопливо, пошатываясь как маятник, ковыляя своими ногами точно осьминог, выброшенный на сушу, двинулся вперед. Как-то все быстро переметнулось, переигралось, что ли. Стало текучим, переливчатым. Переделанным? И объясните: кто и когда выключил свет?

Протискиваясь через людские массы, через все эти мутные одежды, ткани, мебель, как через густые лесные заросли, я осторожно, поочередно перебирая щупальцами, прокрадывался в сторону выхода. Фиолетовая точка. Книжка-малышка. Брошюрка-подружкщздж... Чего-чего? Метнулось и зачесалось в мозгу. Два пьяных медведя? Какие еще медведи? А, про тех? Вон они сидят. Уткнув мохнатые рожи в глубокие кружки. Развалились на диване. Заберу ее, все-таки. Лежит себе.

Я подходил опасливо, на цыпочках к заветному столику. Чтоб никто не заметил! Почти как американский шпион в шестидесятые. Мебельная кожа мучительно промялась под много килограммовыми тушами. Несчастный диван. До чего тяжела жизнь! Я протянул ладонь к своей цели.

– Але. Малой. Ты че тут забыл? – проснулся дикий зверь.

– Я тут оставил. Забрать хотел. – Хах. «Оставил» – шпионские штучки. А вы думали...

В ответ мне что-то пробубнили «пздцпшлнхтсдв». Сказав спасибо, до свидания – я устремился обратно невесомой поступью обманувшего сыщика... Или не сыщика? Кем я там до этого себя называл? Разведчиком? Или нет? Не важно.

Желанные листы бумаги были у меня в руках – и это главное! С согревающим чувством победителя я сунул брошюру в карман. Но, секунду, кажется, она не влезла ни в карман пиджака, ни в карман брюк. Я сложил ее пополам и все же пихнул во внутренности штанов. Но, похоже, и складываться она не желала. Какая вредная брошюра. Гляньте, а! Ладно, так понесу.

Пол подо мной как будто плескался. Неужели я шел по воде? Кажется, мои кроссовки малость промокли. Я нагнулся и дотронулся до пола, он и вправду был жидким. Что-то между игрушечной слизию, охлажденным желе и водой из-под крана. Я засмеялся. Мне и вправду было смешно. Я делал шаг за шагом, аккуратно ступая по этой жидкой поверхности. Бросив свои руки в разные стороны, я старался балансировать, чтобы не свалиться и не утонуть. Плавать я никогда не умел.

У выхода сидел охранник в темно-синей футболке и держал в руке удочку. Похоже, он удил рыбу. На его лице был отпечаток тяжелого несчастного детства. Он сидел с поникшей головой.

– Эй, ну, куда ты прешь, – кажется, это он мне, – слепой что ли?! Пошел отсюда! Давай... ну!

Он подвинул меня в сторону, вышло у него это легко. Сдается мне, будь я грузовой автомобиль или овощной магазинчик, он также без труда смог бы меня сдвинуть с моего места. У меня всегда было подозрение, что таких людей выращивают на грядках. Лежат они месяцами под землей и зреют. А осенью этих живчиков втроем, впятером лопатами выкапывают на благо государства, на защиту мирных граждан от всяких неадекватных, вонючих проходимцев вроде меня. Будь у меня лопата под рукой, я бы двинул ему ногой по челюсти с разворота.

Дверная ручка была уже в моей ладони. Я начал ее тянуть на себя, как вдруг из-за спины выскочил мой старый приятель, бармен лет двадцати пяти – не старше. Такой живой, бодрый, полный жизни и сока парень. Красавец, ей-богу. Только вот улыбки я не находил на его губах. Теперь эти губы просто танцевали на его лице, то пряча, то показывая зубы с языком. Он шевелил ими почти безостановочно, смотрел мне в глаза. Если бы не этот повсеместный шум, я бы легко поверил, что он мне пытается что-то сообщить.

– Ты меня слышишь? Я с тобой разговариваю, – сказал он, потряхнув меня за плечи, – ты стакан разбил. С тебя четыре сотни.

Стакан? Разбил? Я же тут вместе с этим рыбаком на берегу сидел. Мы же тут рыбу вообще ловим вот уже второй час. Я вон за червями собрался идти на тот пригорок. Этот громила сейчас всю живность разгонит. Эй, охранник, ты заснул

там? Нашу рыбу хотят распугать. Или меня разыгрывают?

– Какой еще стакан? – промямлил я через силу.

– Официант сказал мне, что ты локтем опрокинул бокал для вискаря, когда спускался со стула. Ты еще уронил тарелку с лимонами, и декоративный кокос, но это хуйня. А вот четыреста рублей, дружок, тебе придется вернуть. – И такие честные глаза. Ну и как такому не поверить?

– Минуточку, – говорю я. Выходит, виноват – надо признать... А я заметил, что в тот момент как-то неуклюже слезал на пол, трясло меня немного, голова шла кругом. Я сунул руки в карманы. Пытаюсь нащупать что-нибудь бумажное, денежное. Тут пусто. Здесь тоже, хотя нет, жвачка с утра осталась. Куда это я все подевал? Тяжелый водянистый комок подступил к горлу. Как я ненавижу такие ситуации. – Слушай. Я где-то все деньги потерял. Давай я потом вам занесу, завтра вот, например?

Он глубоко вздохнул. Из усилителей по-кошачьи нежно вытягивался мужской голос под жирный и тягучий звук саксофона. На припеве вокалист отрывисто бросал слова в микрофон – Буэна, буэна, буэна, гуд, гуд, гуд!<sup>4</sup> А сакс, тем временем, улетал в свой скользкий, изогнутый мир импровизации, откуда как фонтан брызгал на танцующих смачными басовыми нотами.

– Дерьмово, так у нас не делается. Че-то разбил, испортил – платишь на месте, – на секунду он замолчал, посмотрел

---

<sup>4</sup> Morphine – Buena

рел куда-то за мою спину, подозвал к себе одну из официанток. Невысокая, уже не молодая девушка с неинтересной грудью и с безнадежными ногами, искривленно торчащими из ее зауженного таза. Они начали переговариваться. Я стоял поодаль, считая количество искусственных орхидей в вазе у входной группы. – Тогда давай чего-нибудь в залог. Что у тебя есть с собой? Документы, может, какие... кроме паспорта.

Я пошарился во внутренних карманах пиджака. Ручки, бумажки, кусок холодного пластика. О!

– Банковская карта подойдет?

– Может, на ней деньги найдутся?

Хороший вопрос. Может действительно найдутся. Так. Что это за карта у нас такая? НБАЛОВБАНК? Откуда она у меня? Стоп. Я сегодня деньги же снимал? Да, Снимал. Все же снял? Все же снял. Ну не дурак ли? Возможно.

– Не, сегодня последнее потратил. – говорю ему.

– Ну, давай сюда. – Бубнит он едва различимо, жестом требуя дать ему кредитку. Бородатый силач приблизился к моему уху. Опять думает – я его не слышу. Пхах! – Завтра до полуночи постарайся подойти. Будет моя смена. Добро?

– Ага. – Киваю.

– Михаил Могилёв, значит, – произносит мое имя, изучив выпуклые символы на лицевой стороне пластика. – А меня Олежка зовут. Но можно просто – Олег, – и улыбается как ребенок. Смешно. Я оценил.

Я чувствовал, что он меня сейчас обнимет и потрясет в своих толстых оглоблях.

– Ну, все. Будь здоров! – Кинул на прощание Олег и ушел куда-то в темноту. И даже не стал меня хлопать по плечу. Ну, будь здоров. Пока.

Наконец, я попал на свежий воздух. От давления звездного ночного неба асфальт под ногами загадочно блестел и играл своими серыми красками. Я подошел к краю улицы, выставил правую ладонь. Прошло три минуты – проехала одна машина. Я по-прежнему держал в своей руке уже скрученные в трубочку листы, о которых уже и забыл. Что же я прихватил с собой? Подойдя к фонарному столбу, я приблизил обложку к лицу, чтобы, наконец, опознать содержание этих страниц, но все безнадежно расплывалось передо мной. Отрезвила меня собственная пощечина. На! Получай, пьяница!

## **ВАГАБОНДЫ**

– крупными буквами. В самом центре. И больше ничего. Заглянув внутрь, я обнаружил мелким шрифтом кучу запутанных абзацев. Страниц пятнадцать какого-то текста. Что за дрянь? И это все? Буквы, запятые, точки кишели как муравьи. Хоть бы картинки какие-нибудь. А так...

Расстроившись, я силой впихнул этих непонятных Вагабондов в штаны. А чего я мог ждать? Буклет стрип-бара или скидка в мексиканское кафе? Ладно, завтра полистаю.

Зато как пахнет! Цветочно-фруктовый аромат. Грейп-

фрут... и сливы тоже... это же жасмин... вроде персик еще.

Остановился синий хэтчбэк. Тебе куда, услышал я. Куда мне? Ну и вопрос... И что на него ответить?.. В любом случае, дружище, это ведь не твое дело. Мне куда-то вдаль. Туда, где темно и высоко. Тебя там точно не ждут. Я, махнув рукой, дал понять водителю, что расплатиться мне нечем. Мы расстались, кажется, в недопонимании. На улице было холодно и безлюдно, отчего в моем мозгу разгорался маленький костер. Свет от фонарей тускнел при звуке моих путанных мыслей, произнесенных вслух. Я зашагал по тротуару, и планета под моими ногами завертелась в обратном направлении.

Я очнулся. Господи, неужели. Кажется, я все еще был жив. Во всяком случае, я не мог отрицать причастность к этому гребаному миру. Я попытался пошурудить языком во рту – на вкус, как будто мне кто-то там нагадил минувшей ночью. Терпеть не могу эти ощущения. Склизко и пить хочется. Стакан воды сейчас бы не помешал. Который раз пытаюсь открыть глаза и сфокусироваться на чем-нибудь. И так. Ну же, давай. Это ведь так просто. Что есть сил приподнимаю веки, вытягиваю их наверх, напрягаю лоб – моя нижняя челюсть почему-то начинает неестественно опускаться. Эй, она все еще мне принадлежит? Все лицо расплзается в разные стороны как конечности человека, впервые вставшего на лед. Со стороны. должно быть, я похож на инвалида с синдромом ДЦП, умственно отсталого, имбицила? Или кто там на людях ковыряет в носу и чешет свой зад как ни в чем не бывало – дауны?

Постепенно я начинаю вступать в обоюдный контакт с пространством. Помещаю свое тело в центр системы координат этого места. Сказано громко, однако... Вокруг меня появляются блеклые очертания комнаты – прямо как на акварельном рисунке начинающего художника. Все такое размытое и мерклое – наверняка меня кто-то сюда выжал как содержимое тюбика. Сплошь бледные цвета окрашивают со-

бой весь и без того скромный вид этого помещения. Вещи автоматически заполняют собой панораму моего взгляда. Все синхронно кружится в вялотекущем танце, вращается во-круг оси и куда-то ускользает от меня. Ммммда. Я был еще прилично пьян...

Предметы, окружавшие меня, были мне не знакомы. Где это я? Погрузившись в какую-то иступленную задумчивость, разбавленную чувством собственной ущербности, я принялся чесать веки. Секунду. Как это могло произойти? Если бы я вчера упал пьяный на улице, скорее всего где-нибудь там же я и проснулся. Очевидно, кто-то меня сюда переместил, как оставленную без присмотра вещь. Кинул в этот закуток, как бродячую собаку. На худой конец, меня могли с кем-то спутать – по ошибке я мог оказаться в чужом доме. Не могу сказать, что здесь мне было некомфортно. Нет. Тем более, что на обезьянник это место не очень похоже. Но где же я нахожусь, черт возьми?

Комната была средних размеров, ну или даже крупная. Если бы я вытянулся на полу в струнку, а затем сделал бы ровный кульбит вперед, то мне понадобилось еще дважды все это повторить, чтобы дотронуться до противоположной стенки. Два табурета, массивный стол, торшер с мятым коричневым абажуром, на стене – часы с кукушкой. Сто лет таких не видел. По-прежнему шел двенадцатый час, на моих наручных – стрелки то ли остановились, то ли были пьяны ничуть не меньше своего хозяина. От ремешка остался

розоватый отпечаток на моем запястье – сниму-ка их, рука отдохнет. Я был укрыт красным колючим одеялом в белую клетку; одним из тех, которые так не любят дети. Откуда-то из другого помещения играла музыка – скомканные крадущиеся звуки фортепиано – я все никак не мог уловить их застенчивую, казалось, сконфуженную мелодию. Ее тон был кроткий и неуверенный, как у человека, выросшего в семье с жесткими принципами воспитания.

Я уселся на кровать. Тряхнул малость головой. Внутри нее что-то болталось, пыталось поймать равновесие и завести с самим собой беседу. Я встал на ноги, стараясь руками ухватиться за воздух. Сделал пару шагов и рухнул на табурет. На столе в литровой банке был какой-то мутный раствор. Это то, о чем я думаю? Рядом – маленькая чашка на блюде и пара бутербродов с колбасой на плоской тарелке с медным ободком. Хм, спасибо – то, что надо.

Схватив банку своими двумя, я закинул ее над головой и начал жадно хлебать соленую жидкость. Прилив свежести ударил мне в нос. Я пил как ребенок – руки мои дрожали: еще чуть-чуть и уроню этот стеклянный сосуд на пол. Я держал горлышко несколько криво так, что несколько приличных капель рассола попали мне на шею и начали стекать вниз, по груди. Закинул кусок колбасы в рот и откусил хлебный шматок. Пара крупных крошек упала мне на живот. Вот же свинья!

Я повернулся лицом к кровати и заметил над ней средних

размеров картину. И я с трудом разглядел, что же там было изображено. В общем, ладно, для этого я поднялся с места, приблизился к полотну, а потом уже плюхнулся обратно. Это была репродукция одного из пейзажей Эдварда Мунка, судя по черным извилистым буквам, оставленным в нижнем углу. На исхудалом каменистом побережье сидел темноволосый мужчина, подперев голову рукой. Казалось, он был погружен в темные глубины своих мыслей. Ни тени желания на его лице. Сплошная тоска, мука и сухая желчь полностью овладели им. От картины веяло смертельной меланхолией. Хотелось пулю в лоб себе засадить или закинуться двадцатью таблетками какого-нибудь димедрола или феназепамы. Плоские аскетичные формы, упрощенные смазанные контуры, неправильная перспектива давили как гидравлический пресс на зрителя, вызывали слезы и дрожь в коленях. Спустя минут десять мне почудилось, что чьи-то холодные пальцы стягивают кожу на моей шее. Кто-то пытался меня задушить. Меня резко передернуло как безнадежного пациента отделения неврологии, и я мигом сделал еще пару судорожных глотков.

– Это последний подарок моей жены, – густой мужской баритон вдруг неожиданно выскочил справа. Человек удлинял буквы, как будто лепил из них отдельные слова. В этом голосе была какая-то притягивающая степенность, чувство такта и притом жажда укрыть тебя целиком плотной вуалью собственного тембра. – Она любила живопись. В те годы до-

стать качественно выполненную репродукцию было сверхзадачей, но, как видите, ей это удалось. – Я не верил своим глазам.

В дверях стоял Григорий Гранатов – тот самый знакомый с длинной змеиной шеей и мелкими выразительными зрачками. Вот же дьявол! Я чуть со страху спину себе не вывихнул, дернувшись в сторону как от внезапного взрыва прямо около моего виска. Появление этой массивной худой фигуры (звучит странно, согласен, однако ...) убила во мне последние признаки рассудка. Я был обескуражен! Вот так сюрприз... Неужто игра моего мозга? Григорий держал спину прямо, как будто и не стоял вовсе, а находился в лежачем положении (подобно мертвецу). На нем был темный костюм, черный галстук и туфли того же цвета. Он напоминал мне греческого бога, попавшего в наше время по стечению каких-то сомнительных обстоятельств. Его ненавязчивое присутствие утяжеляло комнату и при том сужало ее и без того маленькие размеры до минимума. Будь здесь человек двадцать случайно отобранных с улицы – эти стены были бы не настолько тесны. Его ледяной высушенный взгляд был сосредоточен над кроватью. Он стоял, слегка прислонившись плечом к проему, скрестив руки на груди, и немного приподнимал подбородок в момент речи.

Кто-нибудь, вылейте на меня тазик холодной воды. Может быть, тогда я проснусь окончательно?

– Да, курьезные были времена. Правительство сменялось

чаще, чем ковры в квартирах. А надежды на будущее росли как тараканы в общежитии.

На этот раз он повернулся лицом ко мне, глубоко вздохнул. Меня выворачивало наизнанку. Вдруг стало стыдно. Впервые за несколько лет.

– Доброе утро, Михаил. Как вы себя чувствуете? – спрашивал он. Честно ему ответить? Сказать, что охота выброститься из окна? Пожалуй, не стоит.

– Спасибо. Уже лучше. – Я проглотил пережеванные остатки бутерброда, они застряли где-то в глотке. Сейчас начну икать, как идиот. Нужно скорее запить, иначе кошмар! Уже и забыл, что у меня есть рот. – А вот за это – отдельное спасибо, – пробормотал я, ткнув пальцем в тарелку, – прямо умирал с голоду, и пить хотелось ужасно... вот... Так это мы у вас дома сейчас? – Я аккуратно налил рассол в чашку и попытался пить не спеша, удерживая блюдце другой рукой. Я все-таки культурный человек.

– Да. Когда-то это была гостиная комната... а на вашем месте однажды ел ватрушки с чаем первый секретарь посла Франции. Но это было так давно, – левая бровь на его лице немного приподнялась, как бы намекая на неоднозначность этих слов. Это была ирония? Возможно, и нет. Секретарь посла Франции... ну, где он, и где я. Он скорее всего мертв.

– Ночью я слышал громкие крики где-то на лестнице. – Продолжил Григорий. – Одна из наших соседок подняла

шум, грозила вызвать полицию. Она все время повторяла одни и те же слова – «Какая наглость! Вы только посмотрите на него! Нет, какая наглость! Пьянь! Наглость какая! Еще один пьяница! Мало нам этой парочки! Нет! Так еще один теперь!» – Он сделал паузу. Я ничего из этого не помнил, но мне было безумно смешно смотреть на его игру. И удерживать смех мне не хотелось, да я и не мог. Он поддержал меня короткой деликатной усмешкой и двинулся ко мне навстречу. Мы пожали руки.

– Вы лежали почти как труп, – Он сел рядом на табурет. – Знали бы вы, с каким трудом мне удалось ее успокоить. Я обещал этой женщине сделать вам устный выговор и прочесть нотацию. Такие здесь правила. Словом, вы мой должник. – Его глаза приятно засветились. – Так что пойдемте, я вас угощу чаем и заодно расскажу пару анекдотов в качестве замечания.

– С удовольствием. – Ответил я. Григорий встал и пошел к двери. Я вдруг спохватился. – Давайте, может, я приберу тут за собой. – И начал мельтешить руками, пытаюсь схватить тарелку и чашку одной рукой. Это было так на меня не похоже. Я действительно такой порядочный?

– Оставьте, не страшно, – он махнул ладонью и кивком пригласил идти за ним. Я двинулся следом. Алкоголь все еще меня не отпускал. Зараза.

Мы шли по светлому коридору (с обеих сторон горели по два светильника). Я заметил, что комнат в квартире бы-

ло несколько: две, три, может и все четыре. Стены, паркет, плинтуса – все нуждалось в добросовестном ремонте. Григорий двигался плавно; и в этой манящей полутьме его силуэт напоминал собой лесного черного ворона, парящего высоко в небе. Грациозная поступь его, быть может, с похмелья, казалась мне чем-то возвышенным и нечеловеческим. Я не хотел ни в коем случае превозносить ни этого человека и никаких других людей. Но я видел все предпосылки к этому. По пути Григорий говорил о местных жителях. Одни съезжали, другие заселялись. И повсеместно царил мещанский дух, и отовсюду молчаливо веяло убийственной безнадежностью. Было тихо, скучно, почти как в монастыре. Судя по его словам, в этом доме он жил давно. Минимум лет сорок. О моем ночном поступке он высказал парочку здравых утверждений. Я вас прекрасно понимаю, говорил не спеша Григорий, несколько странно причмокивая губами. Понимаю вас, понимаю, что такое молодость – что пьяный молодой человек, лежащий без сознания в подъезде – это лишь в одном случае из десяти трагедия. Чаще всего это признак жизни, признак бодрствования (как бы абсурдно это ни звучало) и попытки на время отойти от всего суетного.

А ведь так оно и есть! Именно эти слова и выражали мое отношение к моим несчастным загулам.

В двух словах я описал вчерашнюю ночь – что вертелось на языке. Вспомнил о разбитом стакане и банковской карте. От этого в животе закрутило. Зачем-то посоветовал за-

глянуть в бар СюрГом. Я в таких местах со студенчества не был – не люблю, ответил он, и мы оказались на кухне.

В самом ее конце на подоконнике стоял советский виниловый проигрыватель ВЕГА. Рядом был черный усилитель с множеством кнопок, бегунков, тумблеров. Его окружали две большие колонки с лакированным корпусом, из которых спускалась по клавишам мелкими шагами завораживающая мелодия. Та самая мелодия, которую мне никак не удавалось опознать, лежа в гостиной. Она как будто выглядывала из сумрачного тумана с намерением всех нас умертвить, запутать наши мысли, запугать всех особо восприимчивых и чувствительных существованием обратной стороны жизни. Первое время я ей не верил, не хотел ее слышать. Но она вновь и вновь прокрадывалась в мое нутро, как коварный голодный зверь, битый час наблюдающий за наивными телодвижениями своей жертвы. Она без спроса влезала мне прямо в сердце, с легкостью отыскав там укромное место для дурманных пассажей. Эта мелодия чередовалась то хлесткими, уверенными ударами, то нежными, как будто сыгранными украдкой нотами.

Я не заметил, как оказался сидящим за кухонным столом. В моих руках нервно шелушились салфетки. Григорий заваривал чай. Запах индийских трав равномерно расходился по кухне. Я взял пряник из вазы. Судя по его твердой корочке, лежал он здесь давно.

– Вот, минут двадцать назад вернулся с работы. Пришлось

сегодня прийти в лицей только для того, чтобы поставить пару закорючек на документах. Моя подпись в журнале – знак не просто моего присутствия, но и гарант качества моей работы. Вот вам первый анекдот. – Он поставил металлический чайник на газовую плиту и достал еще одну чашку. Я постарался улыбнуться. В комнате зажегся огонь.

– Вы школьный учитель?

– Да. Преподаю литературу и русский язык. – Он начал мыть какие-то приборы, перебирать посуду в раковине, что-то принялся переставлять. Его тощий скелет стоял ко мне спиной. Я поперхнулся слюной и невразумительно промямлил в ответ. В своем стиле, в принципе.

– Сейчас же каникулы, точно. – И кивнул несколько раз, чтобы усилить свое понимание. Он этого не заметил

Мы оба замолчали. Неловкая пауза растянулась как мягкая пластилиновая колбаска в руках ребенка. Становилось не по себе. Я потерял счет времени. Надо было разбавить этот молчаливый груз, тяготевающий в воздухе, но как? Кажется, мы оба искали предлог. Или только я его искал? Наверное, Григорий молчит из нежелания быть навязчивым. Но я же готов поддержать любую беседу. Мне хотелось говорить, хотелось слушать. Пусть случайная тема пронесется над нами, как астероид в ночной небесной гуще. Вербальный вакуум невыносимо расширился как воздушный шарик под мелодичные трели. Чья-то профессиональная рука хладнокровно колотила по клавишам – от всего этого мне станови-

лось душно. Григорий начал что-то нарезать.

– А что это у вас играет? – спросил я. Мне было стыдно показаться невеждой. Но кто же автор этой пьесы, в конце концов?!

– Эрик Сати. Это его первая Гносиана. – Сказал он, не оборачиваясь. Я стал вспоминать это имя. Где-то я о нем слышал... Несколько случайных фактов резко пронеслись в сознании. Лидер «шестерки» французских композиторов в начале века. Немного сумасшедший, в меру нелюдим, несколько застенчив, но в то же время чудовищно импульсивен и, самое главное, гениален как черт. Умер не то от цирроза печени, не то от туберкулеза – обычное дело.

– Впервые я услышал его в молодости, – продолжал Григорий, – мне было лет семнадцать. Если вам интересно, это занятная история... – Он кинул на меня вопросительный взгляд. Я трижды кивнул и отложил остатки сухого пряника в сторону. Правда, через несколько секунд, не удержавшись, все же доел – люблю с абрикосовой начинкой.

Григорий мне казался похожим на пифагорову кружку, в которую жизнь щедро и безостановочно вливала свои соки так, что и без его на то желания этим богатством мог насытиться любой рядом сидящий. Я приготовился, чтобы открыть рот и хлебнуть немного амброзии. Как оказалось позже, я рисковал захлебнуться и утонуть.

– На первом курсе добрая половина студентов с историко-филологического факультета каждую последнюю субботу

месяца собиралась большим кругом в тесной двухкомнатной квартире пожилого преподавателя. Он вел курс по античной эстетике. На тот момент этому человеку было лет шестьдесят пять. Но на вид, казалось, он был ровесником Нерона или Калигулы. Емельян Тимофеевич. Да-а-а. Добряк, крепкий был мужчина – хоть и росту метр с небольшим. Именно там мы впервые узнали, что такое советский (или революционный) авангард, кто такие немецкие экспрессионисты, что такое итальянский неореализм, додекафония, баухаус, деконструктивизм, новый роман, театр абсурда, а также узнали о пятнадцати способах открыть бутылку вина, без помощи штопора. – Он обернулся ко мне. Его лицо расплылось в улыбке, он пару раз качнул головой в такт своих слов. – Емельян Тимофеевич никогда не стеснялся в речи крепких выражений, если, конечно, они были к месту. Но брань в его голосе звучала мягко и даже симпатично. – На мгновение школьный учитель умолк, по-видимому, погружившись в воспоминания молодости. – Этот человек знал Эрика Сати лично.

Григорий поставил передо мной фарфоровую чашку с японским рисунком сиреневой хризантемы. От нее исходил насыщенный горячий пар. Но меня смертельно мучила жажда. Мне казалось, я готов одним махом опрокинуть этот кипяток себе в глотку.

– Сахар здесь.

– Спасибо. – Я пил чай без сахара. Но ради приличия по-

ложил пол-ложки, не мешая. – Вы говорите, знаком лично? Он вам об этом рассказывал?

Через минуту на столе появился нарезанный сыр, батон, колбаса. Появилась также банка сгущенки. Григорий время от времени макал ломтики сыра в эту густую сливочную жижу и ел с таким удовольствием, будто это и впрямь было вкусно.

– Старик был жуткий выдумщик. На лекциях никто не в силах был оспорить его ум, эрудицию. Любая его мысль, произнесенная вслух, имела источник, и он всегда готов был это подтвердить. Запредельная точность и последовательность в логике, сухой дедуктивный метод, ясность всех его высказываний, даже порой некоторая дотошность его цепкого внимания – все это просто поражало! Он озвучивал на память отрывки из прочитанных научных трудов. Бросался цитатами как энциклопедия! В университете ему не было равных. Но, будучи у него в гостях, мы не раз пытались поймать его на вымысле, на приукрашивании своих изящных историй. Уж больно лукаво это порой звучало. – Григорий опустил взгляд на стол. Все сказанное дальше было произнесено с живописным выражением лица, как будто в его голове взрывались, как вспышки на Солнце, сотни ярких красочных воспоминаний из прошлого. В такие минуты он начинал чаще моргать, игриво подергивал бровями. – По его словам, он учился греческому и слушал назидательные с героическим пафосом рассказы об Античности в духе Плутарха

от самого Николая Федорова, не раз был в гостях у Азы Алибековны и пил рябиновую настойку с живым Алексеем Лосевым задолго до его тайного пострижения в монахи. Емельян Тимофеевич даже помогал ему в составлении оглавления к Истории Античной эстетики и их нумерации. Вы это можете себе представить? – Тут он громко рассмеялся, прикрывая осторожно ладонью губы, внезапно раскрывшиеся в два раза шире. Мне хватило интеллекта оценить эту шутку только наполовину.

Через секунду он открыл какой-то деревянный ящичек с выцветшим рисунком красных ягод на черном фоне. Внутри лежали конфеты.

– Угощайтесь. Коллега из Витебска прислал. Посылка шла почти четыре месяца. Мы уже шутили, что таможня не пропустила подозрительную коробку от человека с типично русской фамилией Рубинштейн.

Да уж. Знал я одного Рубинштейна. Учился на курс старше. Всегда был красив, статен. С преподавателями – груб, резок. Со сверстниками – как будто надменен. Постоянно был пьян и вечно по улице ходил с толстенной папиросой во рту. Сдавал все на пятерки. Стипендию тратил в первый же день на новую литературу. «Козлиную песнь» я ему так и не вернул. Такие книги не возвращают.

– Ага, люблю вот эти. Они вроде с нугой. – Я стал открывать фантик. Оказался грильяж. Пришлось ломать зубы.

Сыр моментально исчезал со стола. Я тоже решил пару раз

макнуть шоколадную конфету в банку сгущенки. На вкус – до неприличия приторно. Ешь, ешь теперь. Мы оба пили зеленый чай, пакетированный, с привкусом то ли рыбы, то ли сушеной древесной коры. Пили почему-то именно его, хотя на столе была еще не открытая упаковка черного. Того самого, который я и предпочитал.

– А что насчет Эрика Сати? Что он об этом рассказывал? – Любопытно ведь.

– Ах, да. Старшая тетка Емельян Тимофеевича, кажется, по отцовской линии жила в Сен-Женевьев-де-Буа – пригород Парижа. До революции в свои юношеские годы он бывал у нее почти каждое лето. И вот, однажды, в каком-то дешевом кафешантане в поселке Аркей он обрел знакомство с местным тапером. Человек играл чудачковатые гармонии, импровизировал как соловей по весне. По его словам, этот пианист, монотонно педалируя одни и те же музыкальные рисунки, раскачивал своими магическими мелодиями заведение до такой степени, что казалось, вы находитесь на палубе небольшой круизной яхты, пересекающей морские просторы посреди Средиземноморья. Его вальяжная манера исполнения без труда овладевала любой публикой. Люди, как замороженные, сидели за столиками, наблюдая за флегматичным юношей в черном цилиндре. – Григорий сделал паузу. Мое похмелье понемногу сбавляло скорость. Спасибо за это третьей чашке.

– Емельян Тимофеевич со словами «оригинал, клянусь

честью, оригинал...» показывал нам знаменитый карикатурный автопортрет гениального композитора с надписью – Эрик Сати рисует сам себя и думает: «Я пришел в этот мир слишком молодым в слишком старое время».

Он выжидательно взглянул на меня. Я был готов поверить любому слову этого человека со змеиной внешностью. Пожалуй, это перебор, сказал я. Он одобрительно кивнул дважды.

Наверное, мне следовало поблагодарить своего собеседника за этот приятный завтрак и за интересную беседу. Поблагодарить и возвратиться к себе в квартиру. Мне нужно было, хотя бы элементарно, умыться и принять душ. От меня, должно быть, дурно пахло, да и во рту так и не удалось избавиться от вязкого привкуса вчерашней ночи. Но я даже не догадывался, что наша беседа еще и не началась.

– Вы политикой, случаем, не интересуетесь? – Этот вопрос звучал как проверка. Я задумался, а вдруг существует верный ответ? Или мне стоит с уверенностью говорить то, что я думаю? Или то, что как раз не думаю на этот счет?

– Постольку поскольку. Одно время я увлекался анархистской литературой. Почитывал Кропоткина, Бакунина, Прудона. Ради любопытства. Так, беглым взглядом. Знаете, только чтобы устранить пробелы в эрудиции. Интересом к политике это и не назовешь, наверное.

– В самом деле? Занятно... А почему именно анархизм? – и вот тут я на секунду замешкался. В отсутствии нужных слов я как со скалы летел в бездну своего сознания, не в силах ни за что уцепиться.

А вот, действительно, почему именно он? Почему не популярный нынче унионизм или, там, милитаризм? Пальцем в небо? Или дань моде? Да не было у меня точного ответа на этот вопрос. Потому что в книжном магазине в разделе популярное наткнулся на одно новенькое и топовое собрание текстов этих авторов? Хотел быть в тренде? Единственное, что я мог сказать, это то, что отсутствие у меня каких бы то ни было знаний о тех или иных философских течениях, направлениях в искусстве, новых для меня идеологических взглядах, собранных в единую концептуальную

систему, вызывало во мне чувство интеллектуального голода, или даже зуда. И я сейчас максимально откровенен. Я становился просто одержимым, когда сталкивался со своим невежеством. Для меня являлось катастрофически недопустимым мое неведение в этих областях, тем более, когда оно вдруг оказывалось предметом чужого внимания или, хуже того, – на большой публике. Я готов был удавиться в эти отвратительные моменты, полные гнуса, присасывающегося к коже моей головы изнутри. Почему одни люди обладают какими-то представлениями о некоторых вещах, а я и понятия не имею что за дичь этот бихевиоризм, к примеру? Какого дьявола?! (Справедливо ведь я задавался вопросом?). Но вместо этих мало убедительных аргументов, достоверность которых и мне самому виделась не до конца очевидной, я ответил как-то иначе. Вышло – хуже, мне кажется.

– Да я всегда был человеком левых взглядов. Вроде бы... В юности мне были близки идеи самопожертвования, а ценности общества я ставил выше собственных. Не говоря уже о том, что другой человек был для меня целью. Первостепенной же целью было все общество в совокупности. Сейчас это, конечно, не столь явно проявляется в том образе жизни, который я веду... Впрочем, от взглядов своих не отрекаюсь. Нисколько.

Нет, я не врал. В сущности, так оно и было. Мой цинизм же и достаточно редкие вспышки человеконенавистничества произрастали из глубин собственного самолюбования.

вания, которое я ненавидел и бичевал в себе при случае. Эти вспышки – были предметом моей болезненной рефлексии и тайного стыда. В действительности весь груз моих жизненных устремлений имел вес лишь в том случае, когда они имели точно заданный вектор, а именно – направленность на других людей. Будь то нуждающийся старик, или беременная женщина, или даже мой оппонент в борьбе за справедливость (уличная драка не являлась исключением). В уступке я находил какую-то манящую правду, а в повиновении мне виделся сакральный смысл, едва уловимый и не доступный моему безусловному пониманию. Это была не участь мазохиста и не инструмент нравственного самовозвеличивания. Но, скорее, дань единственно верному ходу вещей, разумному течению, которому я старался подчиниться. Так я размышлял. Так старался вести жизнь.

– Как минимум можно утверждать, что сердце у вас было на месте. – Иронично заметил Григорий. – Вы говорите вещи, достойные молодого человека вашего возраста. Но главное в этом вопросе, чтобы ваша позиция существовала не только в качестве умозрительных построений, но и полноправно бы организовывала все ваше существование.

Наверное, он думал, что я и сам не верю тому, что говорю. Быть может, он заметил в моих глазах тень сомнения в самом себе или неискренности? Но ведь я не вру. Все это часть меня. Это моя жизнь!

Отвечать на его последние слова мне было решительно

нечем. Да и не зачем, к тому же. Каким образом формируются убеждения? Они всегда являются естественной реакцией человека на внешние возбудители, образованные в систему. Мои же жизненные принципы складывались во мне искусственно. Их рациональная обусловленность делала их единственно возможными. Зачастую мои чувства, мое естество, моя плоть входили в резонанс с поступками, совершать которые велели мне мои понятия. Они брали власть и руководство над ситуацией и тем уже оправдывали свое превосходство. Свою правоту. Быть может, именно эту рукотворность моих убеждений и ощущал Григорий, выражаясь иронично? Быть может, она скрывала в себе причины моих неудач? Не знаю.

Разговор выворачивался наизнанку. Нечто дорогое как будто бы утрачивалось в окружающих меня объектах. Чем дольше я обнаруживал себя по-прежнему сидящим на табурете, тем скорей я вроде бы желал покинуть эту квартиру. Или же мне только хотелось сменить тему беседы... Неопределенность и неспособность сказать себе, что со мной сейчас происходит, смущали меня. Трезвость приходила на смену похмелью и приносила с собой не только ясный взгляд, но и мерзлую хандру.

– Почему я спросил насчет политики и ваших интересов... – плавно продолжил Григорий. Вдруг появившееся стеснение в гибкой мимике его лица говорило мне о чуткости этого человека. Кажется, он заметил мой конфуз. –

Наверняка, вам будет интересно. – Я старался откинуть эти мысли. Сглаживает углы – чего особенного? – Сегодня вечером в главном корпусе университета пройдет открытая встреча клуба политических активистов Коловрат... Ничего не слышали об этом? – Я махнул головой, но мне уже было очень любопытно. А ведь умеет он. С пол-оборота. – Насколько мне известно, это радикальное сепаратистское объединение. На встрече будет зачитана программа и основные положения этой новой структуры. Долгое время существовали отдельно разные сообщества под руководством особо озабоченных политикой или, вернее, политологией людей. И я так понял, кто-то из них объединился под знаменем так называемого Коловрата. Сегодня они представят перед общественностью свои идеи, мысли. Одним словом, агитпродукт, как мне кажется. Это не партия, не фракция, а так, скорее – клуб по интересам. – Последний фрагмент речи Григорий произнес в несвойственной ему манере: акцентировал те места, которые в акценте не нуждаются. В остальном он проговорил на одном дыхании, очевидно, не желая потерять мое внимание. Мне нужна была секунда, чтобы обдумать.

– Интересно, хмх... Я, скорее всего, схожу.

Сепаратистские радикалы... перед общественностью... похоже на шутку. Но шутку притягательную. Возможно, их сепаратистский уклон только домысел Григория? Раздутый слон из студенческого кружка? Ну а что, если нет? Тогда я смогу стать свидетелем публичного ареста. Хах. Это вряд ли

останется без внимания. В таком случае, взять с собой камеру будет не лишним.

– У меня как раз три дня выходных. И вечер свободен. Вы же идете?

– Нет. Я, пожалуй, нет... Впрочем... – точно задумавшись, – нет. Не пойду, знаете, – продолжал он, улыбаясь, – там и без меня будет, на что посмотреть и кого послушать.

Нет? Разве он не искал себе компаньона? И что же... одному теперь? Зачем же он меня в это посвятил – было же ясно, что нет у меня никаких политических взглядов? Что я, буквально говоря, нем в этой области. Нет, если честно, это надо признать – так оно и было. Ведь для меня это представление почти как увеселительное шоу. Я собираюсь развлечься, отдохнуть. Погляжу со стороны на выступление радикалов как на клоунаду. Ну, или – актеров кино.

«Пожалуй, нет» ... хмх – и все же, почему?

– Вы уверены? – спрашиваю.

– Знаете, Михаил, я, признаться, не переношу общества таких людей, да и еще в таком количестве. Я и вам-то предложил, подумав, что вы согласитесь посетить это собрание чудаков, в хорошем смысле слова, конечно. Вы спросите почему? Все просто. Ибо, если вы говорите, что ставите ценности общества выше своих, то вам должна быть интересна судьба этого клуба и их деятельность, которая может иметь большое распространение на массы. По каким-то причинам, я и сам до конца не могу себе этого объяснить, мне видит-

ся, что у этого «клуба по интересам» большое и непривлекательное будущее. Я полагаю, на нем будет лежать ответственность за те геополитические трансформации, которые вполне вероятно произойдут. На национальной ли, идеологической, религиозной почве – не знаю. Я в этом ничего не смыслю. Однако, глупо, согласитесь, отрицать тот факт, что человек нынче – существо сверхчувствительное, болезненно восприимчивое, хлипкое. Ему достаточно малейшего толчка, и оно, забыв, чем дорог мир, двинется в том же направлении и с той же легкостью как ньютоновский шарик. Хрупкий мир пошатнется, но прежде сотрутся прежние грани нашего государства. Распространяя свой импульс, как холеру, спутав цвета, мнения, настроения, не чураясь ни болью, ни потерями страна погубит себя, войдя в состояние аффекта. Захлебнется в пене своего насилия. Насилия над слабостью, простодушием, доверием... – через время – ... грядет череда гигантских событий, масштаб которых обратно пропорционален масштабу личностей, что подтолкнут нас всех к переменам. Застану ли я эти события? Коснется ли моей судьбы оно? Кто знает?.. Но вашему поколению хватит крови. Ах, если б это было не так. Увы. Я ни в коем случае не предлагаю вам тесно сходитья с этим сообществом. Как и не предлагаю вступать в оппозицию с ней – упаси вас боже. Слышите? Однако ж, о таких явлениях и событиях стоит знать. Стоит иметь позицию по отношению к таким вещам. Быть знакомым, понимающим – но не более.

Подумать только! И это все говорит он?! Я не мог себе представить, что сказанное школьным учителем есть его трезвый взгляд на вещи. Результат его глубоких, длительных раздумий. И это то, что поистине его заботит? Что находит отклик в его сердце? Зачем все это было произнесено вслух? Ход его рассуждений был извилист, путан, как траектория полета испуганной мухи.

– Людям, подобным организаторам и участникам этого политического клуба, существует верное определение. – Продолжал свою речь человек, спокойно сидящий напротив. Я старался приглушить свой не унимающийся скепсис. Успокойся, говорил я себе. Дай ему высказаться. – Это определение точно описывает их суть, значение, и, отчасти, мое к ним отношение. – Секундная пауза повисла в воздухе. – Пидриоты они. – ЧТО, простите? – Все-все пидриоты, поголовно. И это не оскорбление, не подумайте, как бы грубо оно ни звучало. Это лишь попытка дать явлению верную словесную форму. Пидриоты – один из тех забавных каламбуров, родившихся на квартире Емельян Тимофеевича в субботние вечера.

– Пидриоты? И что же это такое? Смесь между патриотом и чем-то еще? – Должна последовать незатейливая шутка?

– Да, я сейчас поясню. Мы так называли людей, в ком патриотизм пересиливает все другие стороны жизни. И не просто пересиливает, а становится единственно возможной и одобряемой мерой ценностных оснований. Те, кто на под-

сознательном уровне взвешивает каждый свой шаг на весах собственной, им установленной патриотичности. Они выбирают себе круг общения и оценивают людей по авторским уникальным меркам «вклад человека на благо Родины». Пидриоты с пеной у рта готовы защищать собственные политические идеалы, за которые они пойдут и на эшафот, и на виселицу, и заполнят собой городскую площадь в честь очередного культ-массового и культ-национального праздника. Либералы, коммунисты, националисты, монархисты и прочие, как бы они там себя не называли, и уж тем более все эти оголтелые журналисты, которые ежедневно как черви питаются этим едким трупным материалом, отравляющим жизненные силы – все эти люди пидриоты. В них, я замечал, выхолощена любовь ко всему прекрасному, ко всему тонкому. А вот жажда политической дискуссии и страсть к дебатам развиты чуть ли не на сексуальном уровне. Их изуродованное природой либидо тянется к идеологическим конфликтам, тянется к громким политическим скандалам и только в них находит себе удовлетворение. Их счастье – превратиться в тяжелый, широкий дуб в гуще леса. И прожить свои сто, двести, восемьсот лет с согревающей уверенностью всегда быть сопряженным с родной землей. Питаться ее влагой и в ней найти свою гибель. Хотя надо сказать, что в чем-то это очень несчастные люди. – И замолчал.

Я рад, что мне ничем они не близки. – Закончил он через полминуты. Ну, нет, Григорий. Я тебе не...

– Не может быть, чтобы вам было настолько все равно на вашу страну. Вы в ней живете, в конце концов. Многим ей обязаны, наверное. – Парировал я.

– Действительно, многим. Тут вы правы. Так, что ж? – спрашивал он меня, на этот раз несколько наседая, как мне показалось.

– В смысле, что ж?

– И что же с того? – Нажимал он на голосовые связки. – Еще большим я обязан кислороду, которым и жив поныне. Так что ж? Обязан воде, атомному строению материи. Так что ж, опять же? Согласитесь, благодарность – дело сугубо личное. Это чувство в ком-то возникает автоматически. А в ком-то оно атрофировано напрочь. Возможно, и вы благодарны мне за мою помощь. Так что ж с того. Замечательно, допустим. Или нет. В общем, не важно. Знаете, я давно не ощущал ничего подобного. С тех самых пор, наверное. Я этого теперь не понимаю.

– Вы намекаете, что в жизни руководствуетесь только какими-то партнерскими отношениями. Вы – мне. Я – вам?

– Нет же! Ничем я не руководствуюсь. Просто благодарности не чувствую. Вот и все. Что-то делаю, как-то живу. Работая, вот. О чем-то порой размышляю. Как о том, что я говорил ранее. Я в этом смысле очень простой человек.

– Вы поясните мне, что вы имеете в виду? – Я искренне не мог уловить значение этих неоднозначных фраз. Возможно, Григорий намеревался создать, таким образом, особое

впечатление. Хотя, глупость. Он как будто сама невинность. Сама искренность. Вот и сейчас гляжу на него и вижу только усталого мужчину.

– Я ко многим вещам равнодушен. К проблемам других людей я абсолютно безразличен. Впрочем, как и к некоторым своим проблемам. А вот иногда могу ни с того, ни с сего проявить неожиданную добросердечность. Мне вдруг придет на ум оказать помощь многолетней коллеге, окруженной сплошь бедами и несчастьями. Помочь вдове, которая вынуждена не только преподавать в школе для обеспечения своего семейства, но и подрабатывать в стоящих рядом с домом магазинах вечерней полумойкой и дворником по утрам. Сильнейшее, из ниоткуда пришедшее ко мне желание утешить эту женщину вдруг окатывает меня как шланг ледяной водой. И я, словно порядочный отзывчивый человек, выхожу из дома, покупаю фрукты, сладости, соки, каждому ребенку – по игрушке, кладу в конверт несколько тысяч рублей, выбираю цветы и делаю визит в этот дом. И я совершаю все это с тем же чувством, с каким бреюсь по утрам. Честное слово. Но ведь я, и вот что интересно – это вас должно немало удивить, хотя для меня здесь ничего необычного во все нет – я почти каждый вечер, проходя мимо тех самых магазинов во время своих поздних прогулок, бросаю окурочек на землю и сопровождаю его плевком. Никогда не курящий сигареты я специально заранее покупаю пачку, чтобы, выйдя из дома, прогуляться поздним вечером по давно состав-

ленному маршруту, чтобы за пять минут до места ее работы поджечь сигарету, выкурить ее почти до фильтра, вытерпеть кисло-горький крепкий аромат во рту, от которого меня жутко воротит и мутит, и, наконец, швырнуть его поближе к входной двери, прекрасно понимая, кому придется за мной убирать. И для меня это такая обыденность. Такая рутина. Такая проза, что как будто бы и наскучило уже. А ведь я никак не отношусь к семье этой женщины. Мне глубоко плевать на ее жизнь. На ее заботы. Но я поступаю так, как поступаю. И нет этому объяснений – и быть не может.

– Послушайте, но это же невозможно. Я этому не верю. – Стараюсь я быть все еще вежливым. – Это невозможно. У всего есть своя цель. У всех поступков, у всех решений. И ваши действия не могут быть исключениями. Должна быть причина. Определенно. – Лукавит он. Я не могу. Чего-то ты не договариваешь, я ведь прав? Хотя бы стыд своей симпатии к этой женщине, хотя бы жалость к мещанам. Хоть что-то...

– Вы, Михаил, первый человек, с которым мне вдруг захотелось этим поделиться. И вам при этом кажется, что я сказки рассказываю. – Его баритон нежно зашуршал, как бахрома пальмового листа. Не хочу быть с ним грубым. Спокойнее. – Это меня не обижает... Однако, вам следует задуматься, может быть, моим словам можно найти оправдание. – Он привстал. Открыл форточку. В комнате становилось свежее. Нажатием кнопки остановил вращение пластинки – мы оста-

лись вдвоем. Вернулся на место. И глядя куда-то в бок, мимо меня, очевидно, за оконный проем, продолжил. – Я смертельно устал оправдывать целью свои поступки... А, может быть, и нет. Не совсем. Наверное, это мои поступки устали от того, что я навязываю им необходимость иметь цель. На самом деле, – и тут он замер на мгновение, чуть больше. – я многое перенял от Емельян Тимофеича. И неправдоподобность моих историй вы можете отнести как раз к тому же – однако, я сейчас не об этом. Вот, например, у меня есть такая привычка, что ли, я часто придумываю слова, которые точнее способны описать мои чувства, мои взгляды или, напротив, их отсутствие. Вам станет понятнее, о чем я хочу сказать, если я вам приведу пример... Только вы сразу не смейтесь. Я похутеист. Похутеизм – понятие, к которому я пришел для объяснения своих взаимоотношений с богом, моих внутренних ощущений на этот счет. Я полностью равнодушен к тому, чем он является сам по себе, чем является для тех или других людей, или что ему вовсе не присуще, или к тому, как был создан наш мир. Он также мне интересен, как некий муравей, ползущий под моими ногами, которого я и не замечаю вовсе, который, несмотря на все это, может быть даже и существует и, между нами говоря, чем-то занят. Инициативный работяга такой. Не замечаю – и точка. Так что ж, опять же. Вот именно – ничего. Отсюда я и взял за основу это нехитрое понятие, и мне стало настолько проще с самим собой, с жизнью, с людьми. Вы понимаете? – уг-

ловато сморщившись, спрашивал он.

– Похутеист, говорите. Это интересно, правда. – Я невольно разулыбался, пытаюсь прикрыться дном чашки – и это не был сарказм. Как к муравью, значит...

– Интересно? А по мне – как раз иначе. Знаете, эта тема для меня еще более далекая и дикая, чем тема человека. Много времени и нервов я в молодости потратил в раздумьях, в дискуссии с товарищами, пытаюсь разгадать древнюю загадку, которая априори не доступна моему уму. В ваши годы я относился к богу так же, как заключенный относится к тюремному надзирателю. И это было в большей степени поза, чем убеждение, чем трезвый взгляд на вещи. Я козырял этим высказыванием, как павлин своим хвостом. Глупо, конечно, зелено, но и вместе с тем прекрасно. Но только позже я понял, что мировоззрение – самое интимное, что есть у человека. Благо, мне удалось взяться за ум и отойти от своего ребячества и прийти к действительному пониманию своих взаимоотношений с Ним. – Поднеся к губам холодный фарфор, он сделал пару скромных глотков. – Первопричина мира, трансцендентная область, творец – это все так скучно... Так нудно... Вы не находите?

– Скучно? Да я бы не сказал. Хоть я и убежденный атеист... но мой путь к этой позиции был насыщенным. От непонимания сути проблемы в начале до ... – но тут меня впервые перебили.

– И вы нашли ответ на свой вопрос? – В этот раз Григорий

был суше.

Немного поколебавшись и покусав язык, я вернулся к беседе.

– Нашел. – Кивая, ответил. Уверенно.

– Так, что ж?

– В каком это смысле?

– Качественно вашу жизнь это изменило? Зачем вам ваш атеизм? – Слово «ЗАЧЕМ» крупными буквами пронеслось у меня в голове. – Вы перестали читать молитвы? Или, может быть, каяться за грехи бросили?

– Да нет же. – Смешной вопрос. Что значит зачем... Это же не палка, не кусок бревна, чтобы иметь применение. Он просит назвать прикладной смысл? – Я ничем этим не занимался. Просто во мне появилась ясность в этом деле. – Если угодно, мне есть что ответить и чем аргументировать, если речь пойдет о Боге.

– Велика цена вашим успехам, если вы сводите свои убеждения к таким вещам.

– А что же вы предлагаете, чтобы я своим атеизмом хлеб резал?

– Не предлагаю. Но разве ваша жизнь после осознания себя таковым существенно изменилась?

– Эм... В общем-то, не изменилась.

– Так что ж? – В сотый раз спрашивал меня этот школьный учитель. Заело у него что ли?

Я умолк. Крепко в руках держал кружку, прикасаться

к которой не было ни малейшего желания. Зеленый чай остыл окончательно. Без сахара.

А внутри-то свербит. А что-то крутится во мне. И мысль моя, чувствую, как загнанный зверек, хочет убежать, да не может. Да некуда ей. Черт бы тебя побрал, Григорий. Что же это такое?! Я чувствовал его правоту? Его мудрость, что ли... По факту это была какая-то фикция. Или, сказать, мозговая головоломка, которую я сам для себя придумал. Превратись я внезапно в верующего человека, моя жизнь никак не изменится. Да, есть Создатель, пусть так – и что? Нет его – ну и? Что дальше – зачем мне все это? Пустой треп? Но нельзя же игнорировать этот вопрос. Нельзя!

– С тех самых пор, когда я стал равнодушен ко всему, что лежит за пределами возможностей моего мышления, мне стало как-то легче дышаться. Да и приятней, в целом. Мой похутеизм закрыл для меня дыру в моем мировоззрении, размышления о которых были абсолютно не продуктивны. Я стал уделять время лишь тем областям бытия, которые напрямую воздействуют на меня. Кухонный стол, чувства женщины, тучи над головой, ну и так далее...

– Стало быть, вы похутеист?

– Да, и, признаться, нас очень много. Подавляющее большинство людей на планете в двадцать первом веке – истые похутеисты. Они могут называть себя христианами, мусульманами, но это самообман, иллюзия. Их принадлежность к религии лишь элемент внешнего имиджа. Как родовой ча-

пан или фамильное украшение. Религиозные взгляды – часть декора человека, а в политическом аспекте – это ярлык благонадежности. Встретить поистине религиозного человека в наши дни, в котором вера пересиливает личность и всецело предопределяет его судьбу – это большая редкость. Нас окружают почти всегда сплошь похутеисты. Правда, мало кто об этом догадывается. Предположу, что и вы во многом исповедуете принципы похутеизма и догматы нашей конфессии вам особенно близки.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.